ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

I

Владислав Ходасевич

БЕЛЫЙ КОРИДОР

ВОСПОМИНАНИЯ

Эта книга издана при содействии фонда Михаила Барышникова.

Владислав Ходасевич

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Под общей редакцией
ИОСИФА БРОДСКОГО

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
НЬЮ-ЙОРК • 1982

Владислав Ходасевич

БЕЛЫЙ КОРИДОР

ВОСПОМИНАНИЯ

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
НЬЮ-ЙОРК • 1982

ХОДАСЕВИЧ, Владислав Фелицианович.
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА В ДВУХ ТОМАХ.
Том I. Белый коридор. Воспоминания.
П общей редакцией Иосифа Бродского.
Составление и подготовка текста *Григория Поляка.*
Комментарии и примечания проф. *Ричарда Сильвестера.*

KHODASEVICH, Vladislav Felitsianovich.
IZBRANNAYA PROZA V DVUCH TOMACH (Selected Prose in 2 vol.)
Vol. 1. Bely Koridor. Vospominaniya. (The White Corridor).
Compiled and edited by *Gregory Poliak.*
Notes by Prof. *Richard D. Sylvester.*

Library of Congress Catalog Card Number: 80-50467.
ISBN: 0-940294-10-9.

SILVER AGE PUBLISHING.
P. O. Box 384 Rego Park
New York, N. Y. 11374.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

"Белый коридор" Владислава Ходасевича текстуально и хронологически является продолжением изданного в Брюсселе в 1939 году "Некрополя".

За пределами этих двух книг из того, что можно отнести к жанру мемуарной прозы Ходасевича, по разным причинам осталось очень немногое (см. комментарии и вступительную статью к ним профессора Ричарда Сильвестера, стр. 270).

Для составителя данного тома сложность заключалась в том, что многие статьи Владислава Ходасевича содержат элементы воспоминаний и, наоборот, мемуарные тексты дополнены литературоведческими вставками.

Все тексты настоящего издания сверены с прижизненными публикациями.

Книга условно разделена по тематическим признакам следующим образом:

1. Автобиографическая проза.
2. Воспоминания.
3. О Горьком.

В конце тома помещен развернутый комментарий с библиографическими справками и именной указатель, составленный проф. Р. Сильвестером.

В первую очередь я хотел бы выразить глубокую благодарность Н. Н. Берберовой, принимавшей участие в работе над книгой на всех этапах. Без ее содействия это издание было бы намного скромнее.

Я хотел бы также поблагодарить:
проф. Джона Малмстеда из Колумбийского университета в Нью-Йорке за ценные консультации;
доктора Мартина Сиксмита из Кембриджа, Англия, за помощь в подборе архивных материалов;
госпожу Нору Довлатову за помощь в корректуре.

Г. П.


I

О СЕБЕ

Писать автобиографию на нескольких страничках — и бессмысленно, и не хочется. Лучше расскажу, очень внешне, свою жизнь за последние годы, начиная с весны 1916, когда как-то сразу стряслись надо мной две беды: умер самый дорогой мне человек, С.В. Киссин (Муни), а я сам заболел туберкулезом позвоночника. Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и послали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь».

Весной 1918 года началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и на что есть уменье: общая судьба всех, проживших эти годы в России. Работал сперва в театрально-музыкальной секции Московского Совета, потом в Тео Наркомпроса, с Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым, Новиковым. Читал в Московском Пролеткульте о Пушкине. Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего-же «урока» — опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лицея — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

С конца 1918 г. заведывал московским отделением «Всемирной Литературы». Эту работу, скучную очень,

«административную» едва дотащил до лета 1920 года, когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро. Ушел и из «Всемирной Литературы».

В 1918 г. в конце лета затеял вместе с П.П.Муратовым книжную лавку писателей. Добыли книг на комиссию от знакомых издателей. Добыли откуда-то денег на обзаведение, поселились в Леонтьевском пер.,16. Стали за прилавок. Е.Д.Кускова была первой покупательницей: когда шкафы были еще пусты, купила какую-то газету за 30 коп. Кажется, это и составило запасной капитал. Торговали в лавке: Б.А.Грифцов. М.В. Линд, П.П. Муратов, Е.Л. Янтарев, А.С. Яковлев, М.А. Осоргин, я. Работали в очередь. Моя жена сидела за кассой, зимой, изнывая в нетопленом магазине — по целым дням. Кое-как были сыты. Зиму 1919-20 г. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленого дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). За стеной в кухне на плите спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем и сахарином. Мы с женой в это же время служили в Книжной Палате Московского Совета: я — заведующим, жена — секретарем.

К весне 1920 г., выпустив «Путем зерна», — слег: заболел фурункулезом. Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом — за кухарку, потом — за сестру милосердия. Своими руками перевязывала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету). Летом стало полегче. Поместились в санатории. Жена — на 6 недель, я на полтора месяца.

Осенью, после семи белых билетов, меня, еще покрытого остатками нарывов, с болями в позвоночнике, какие-то умники «пересмотрели» и признали «годен в строй». Спас Горький, отвезший в Кремль мое письмо к Ленину. Снова пересмотрели уже настоящие врачи — и отпустили. Задумал бежать в Петербург. На прощанье в Москве обокрали квартиру: всю одежду мою и женину. Это была катастрофа. Кое-как прикрыли наготу с помощью родных, распродали мебель — и в Петербург.

Там поселился в «Доме Искусств». Сперва снова лежал около месяца. С начала 1921 г. жили сносно. У меня — ученый паек и кое-какая работа, у жены — служба. Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10-12 тепла. В Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: «Серапионовы братья», кружок «Звучащая раковина». Конец лета провел в «Бельском Устье», в Покровском у., Псковской губ., в колонии «Дома Искусств». Отъедался вообще и объедался фруктами. Много писал стихов с середины лета 1921 до февраля 1922. Готова у меня книга новая «Тяжелая лира». В эту же зиму издал и переиздал в Петербурге шесть книг своих.

И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои.

Берлин, июль 1922 г.

МЛАДЕНЧЕСТВО

Очень важная во мне черта — нетерпеливость, доставившая мне в жизни много неприятностей и постоянно меня терзающая. Может быть, происходит она от того, что я, так сказать, опоздал родиться и с тех пор словно всё время бессознательно стараюсь наверстать упущенное. Старший из моих братьев был на целых двадцать два года старше меня, а сестра, ближайшая ко мне по времени рождения,— на одиннадцать. Когда я родился, отцу шел пятьдесят второй год, а матери — сорок второй. В семье очутился я Веньямином, поскребышем, любимцем. Надо мною тряслись, меня баловали — всё вместе довольно плохо отразилось на моем здоровье, на характере, даже на некоторых привычках. Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень — средством расстраивать желудок, а фрукты — баловством. В конце концов у меня выработался некий *вкусовой инфантилизм,* т.е. я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда.

Мое опоздание помешало мне даже в литературе. Родись я на десять лет раньше, был бы я сверстником

декадентов и символистов: года на три моложе Брюсова, года на четыре старше Блока. Я же явился в поэзии как раз тогда, когда самое значительное из всех современных течений уже начинало себя исчерпывать, но еще не настало время явиться новому. Городецкий и Гумилев, мои ровесники, это чувствовали так же, как я. Они пытались создать акмеизм, из которого, в сущности, ничего не вышло и от которого ничего не осталось, кроме названия. Мы же с Цветаевой, которая, впрочем, моложе меня, выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, «дикими». Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть.

Первым проявлением моей нетерпеливости было то, что я поспешил увидеть свет на две недели раньше, чем мне полагалось. Это событие произошло в 1886 году, 16 мая по старому стилю, в полдень. Родители мои жили в Москве, в Камергерском переулке, в доме Георгиевского монастыря, впоследствии перешедшем к Синодальному ведомству. Дом был кирпичный, нештукатуреный, двухэтажный — верхние этажи, надстроенные позже,— и приходился как раз напротив того дома, в котором тогда помещался театр Корша, затем — увеселительное заведение Шарля Омона и наконец — Художественный театр, существующий в этом здании по сей день.

Поторопившись родиться, поторопился я совершить первую в моей жизни бестактность: досточтимому отцу Овельту, настоятелю польской церкви (что в Милютинском переулке), при погружении меня в купель совершенно отчетливо показал я нос. Достоверное предание о сем происшествии сохранилось в семье. За веселым началом последовало, однако ж, печальное продолжение. Я был слаб и хил чрезвычайно. А тут еще через несколько дней на языке у меня появилась опухоль, которая быстро росла и из-за которой я наотрез отказывался принимать пищу.

Кормилицы, которых брали ко мне, уходили на другой день, говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно «не жилец». Наконец, нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: — «Бог милостив — я его выхожу». Доктора между тем не знали, что делать, не решаясь на операцию. Когда я уже почти умирал, одному из них, Смиту, англичанину родом, пришло в голову прижечь волдырь ляписом. Это подействовало, мой типун исчез так же быстро, как появился. Смит надолго остался моим детским врачом, а на языке у меня на всю жизнь сохранилось небольшое затвердение, которое мой отец называл заплаткой. Осталась при мне и кормилица, Елена Александровна Кузина, крестьянка Тульской губернии, Одоевского уезда, Касимовской волости, села Касимова. Своего мальчика, ровесника моего, она отдала в Воспитательный дом, где он вскоре и умер. Таким образом, моя жизнь стоила жизни другому существу. О самой няне я скажу позже.

О носе, показанном ксендзу Овельту, о заплатке, о появлении няни я знаю, разумеется, по рассказам. Все эти события допамятные, для меня как бы доисторические. Сюда же относится и рассказ о первом слове, мною произнесенном. Сестра Женя, которой было тогда двенадцать лет, катала меня, как куклу, в плетеной колясочке на деревянных колесах. В это время зашел котенок. Увидев его, я выпучил глаза, протянул руки и явственно произнес:

— Кыс, кыс!

По преданию, первое слово, сказанное Державиным, было — Бог. Это, конечно, не в пример величественней. Мне остается утешаться лишь тем, что вообще

есть же разность
Между Державиным и мной,

а еще тем, что в конце концов, выговаривая первое

слово, я понимал, что говорю, а Державин — нет.

Любовь к кошкам проходит через всю мою жизнь, и меня радует, что с их стороны пользуюсь я взаимностью. Мне нравится заводить с ними летучие уличные знакомства и, признаюсь, моему самолюбию льстит, когда бродячий и одичалый кот по моему зову подходит ко мне, жмется к ногам, мурлычет и идет за мной следом. Несколько лет тому назад, поздно вечером, познакомился я с одним таким зверем у Пон де Пасси. Немного поговорив, мы пошли вместе, сперва по набережной, потом по авеню Боске. Он не отстал от меня и на рю Сен-Доминик, по которой двигалось много народу, расходившегося с декоративной выставки. Как истые парижане, мы зашли в бистро и выпили: я — рюмку коньяку, он — блюдечко молока. Потом он проводил меня до дому и, судя по всему, был непрочь остаться со мной, но к несчастью я жил в отеле.

Существует ходячее мнение, будто бы кошки не приживаются к человеку и будто бы они глупы. Их сравнивают с собаками. Я не люблю этих ребяческих рассуждений. Не стоит искать в животных маленького, расхожего ума. За таким умом лучше ходить просто в гости, потому что и самый глупый из наших знакомых всё-таки умнее самой умной собаки. Кошки не любят снисходить до проявления мелкой сообразительности. Они не тем заняты. Они не умны, они мудры, что совсем не одно и то же. Сощурив глаза, мой Наль погружается в таинственную дрему, а когда из нее возвращается — в его зрачках виден отсвет какого-то иного бытия, в котором он только что пребывал.

Кошки настроены мечтательно и философически. Они непрактичны и не всегда считаются с обстоятельствами. Поэтому безоглядна их храбрость. Двухмесячный котенок, когда я его пугаю, не обращается в бегство, а спешит перейти в нападение. Они горды, независимы и любят рассчитывать только

на себя. Поэтому дружба их лишена бурных проявлений и в ней нет ни намека на подхалимство. Обидевшись на вас, кот способен дуться по целым дням и целыми неделями делать вид, что он вас не замечает. Кот решительно не желает сторожить ваш дом, потому что он вам не слуга. Но он любит быть вашим собеседником — молчаливым, мурлыкающим или мяукающим — всегда по-разному. Он любит спорт и хочет, чтоб вы разделяли его увлечение. Покойный Мурр являлся ко мне в любой час дня или ночи и до тех пор кричал (несколько в нос) «Сыграем! Сыграем!» — покуда я не соглашался сыграть с ним в прятки. Он носился по комнатам, прячась за мебель и за портьеры и заставляя меня его отыскивать,— и готов был длить забаву до бесконечности, хотя у меня уже ноги подкашивались от утомления. Зато и нет ничего более трогательного, чем кошачья дружба. Она проявляется в особенности тогда, когда плохи ваши обстоятельства или тяжело у вас на душе. Положительно могу утверждать, что стоило мне быть расстроенным — кот, до этой минуты не обращавший на меня внимания, тотчас приходил ласкаться. Это кошачье участие всегда исполняет меня глубокого умиления. Вот и теперь, когда Зайчуров, дорогой друг мой, встретив меня в печальную булонскую ночь, бежит за мною по улице,— горечь отходит от моего сердца и начинает казаться, будто

Легко мне жить,и дышать мне не больно.

Первое воспоминание относится у меня к очень ранней поре: никак не позже, чем к лету 1888, а может быть, даже к лету 1887 года— к тому времени, когда я еще не умел ходить или ходил очень плохо. Заключаю это из того, что отчетливо помню свой наряд: на мне — пикейная круглая шляпа с полями и длинная пикейная пелерина, такая, в какой ходить по земле невозможно. Няня держит меня на руках. Мы с ней стоим в Петровском-Разумовском на плотине, у входа

в парк. За спиной у нас пруд, а перед нами — просторное болото. Влево, к фабрике Иокиша, уходит Михалковское шоссе. На шоссе стоит городовой. Он подходит к няне, говорит с ней, потом протягивает мне палец, я за этот палец хватаюсь, и городовой целует мне руку. Мне очень совестно и даже боязно перед моими левыми друзьями, но с этой сцены начинается моя жизнь, ибо с нее начинается мое сознание. Я должен даже покаяться, что знакомство с этим городовым (у него была русая борода и русые усы) продолжалось у меня очень долго. Я сравнительно часто бывал в Петровском-Разумовском уже после того, как мы перестали ездить туда на дачу, а городовой всё стоял на своем посту, только его перевели к паровичку. Таким образом, я рос у него на глазах. Когда уже был я взрослым, он неизменно козырял мне и спрашивал про моих родителей, про сестер и братьев. В последний раз я видел его в 1911 году.

С Разумовским вообще связаны мои ранние воспоминания. Одно из них — сильнейшая гроза, бурный ливень, а потом — голубое небо, и солнце, и капли, падающие с деревьев. Над Михалковским шоссе — беловатый туман, и в этот туман уезжает пролетка, в которой сидят отец с матерью. И все кругом говорят, что отец едет в Париж на выставку. Действие происходит, следственно, в 1889 году. Помню затем возвращение отца, привезенную им бронзовую модель Эйфелевой башни и рассказы его об этой башне, поражающие мое воображение.

Парижская выставка 1889 года дает мне возможность датировать чрезвычайно важное событие моей жизни. В то лето приезжала из Ярославля моя сестра Маня с мужем Михаилом Антоновичем, которого я смертельно боялся и которого ненавидел всею душой за то, что он меня обучал хорошим манерам. Впоследствии я понял, что это хороший и добрый

человек, но о педагогике он не имел ни малейшего представления. Он меня дрессировал, как собачку. Дело не в нем, однако. Мне ясно помнится летнее утро и скамеечка на дорожке, идущей от калитки к террасе. Мы с Маней сидим на скамеечке, и сестра учит меня читать. Я уже знаю буквы (когда и как научился — не помню), но слоги мне не даются. В азбуке, по которой мы учимся (теперь я узнал бы ее из тысячи других), как водится, напечатаны маленькие картинки, а под ними — соответствующие слова: нарисовано ухо — под ним стоит: «УХО», нарисованы сани — под ними — «САНИ». Я очень скоро сообразил, что не стоит трудиться разбирать слова, если можно читать, просто смотря на картинку. Мы уже миновали и сани, и ухо, и дом, и многое другое, как вдруг мой прием обнаружился: посмотрев на очередную картинку, я не задумываясь прочел: пчела. Не тут-то было: это была не пчела, а оса. Азбуку заменили другой, без картинок, и мне пришлось учиться читать по-настоящему. Годам к четырем я был уже чтец заправский, и вскоре стал поглощать книжку за книжкой. Брат Миша постепенно составил мне целую библиотеку из сказок и нравоучительных повестей, изданных Обществом распространения полезных книг. «Конька-Горбунка» я вскоре выучил наизусть и очень его полюбил (и люблю до сих пор). Книжечки были тоненькие, в разноцветных обложках. Продавались они по копейке, по две. Вскоре начали мне дарить книжки и подороже. Подарили Пушкина, уверяли, что это очень хорошо,— мне же после «Конька-Горбунка» сказки Пушкина казались незначительны. Подарили мне также Лермонтова, но эту книжку я много лет и раскрыть боялся: картинка, изображающая скелет на кровати (иллюстрация к «Боярину Орше»), навела на меня настоящий ужас. Она снилась мне по ночам.

Я очень рано узнал о смерти, хотя в семье нашей никто не умирал. Я боялся темноты, покойников и особенно — ада, в который Бог отправляет

грешников, чтобы их там мучили черти. Я также знал, что черти иногда появляются на земле, в полночь, а на рассвете проваливаются.

Поэтому, когда брат Стася провалился на экзамене, он стал мне казаться существом весьма подозрительным, тем более, что дома его все ругали и от него сторонились. Это подозрительное отношение особенно усилилось, когда Стася поступил на медицинский факультет, и я узнал, что существует на свете страшное место — *антонический театр,* где лежат покойники и где их режут. Я очень хорошо понял, почему театр называется *антоническим:* туда попадают люди, у которых случился *Антон-фагонь,* страшная болезнь, от которой (слышал я) нет спасения и после которой одна дорога — в огонь, в ад. Я очень боялся, что и у меня будет Антон-фагонь. Я старался вести себя хорошо, чтобы не случилось со мною такого ужаса.

Не тут-то было: в один прекрасный день мне таки объявили, что вечером меня повезут в театр. Я заорал благим матом и орал так до самого вечера. Наконец мне сказали, что едем мы не в театр, а к няне в деревню. На это я согласился — не без опаски. Наконец, привели извозчика. Меня вынесли, укутанного с головой. Уселись, тронулись. Я впервые был ночью на улице. Большая Дмитровка, освещенная редкими фонарями, в которых плясали и колыхались красные огни, представлялась мне бездной, в которую мы проваливаемся. Наконец приехали. Нянина деревня мне показалась красивым, нарядным местом. По стенам было много золота. Множество народа разместилось по всем этажам, на балконах, вдоль которых тянулись черные трубки. Над трубками торчали острые золотые огоньки: Большой театр тогда еще освещался газом. Вдруг огоньки стали синими, вокруг потемнело. Зато справа от меня, вдали и внизу, открылось просторное, светлое пространство,

похожее на алтарь в костеле. Какие-то удивительно ловкие и проворные люди там прыгали и плясали, то поодиночке, то парами, то целыми рядами. Одни из них были розовые, как я, другие — черные, арапы. Они мне казались голыми, потому что были в трико, и очень маленькими вследствие отдаления: почти такими же маленькими, как пожарный, что ходит на каланче против дома генерал-губернатора. Замечательно, что музыки я словно не слышал, и она выпала из моей памяти. Потом вдруг там, где плясали, всё вновь потемнело, а вокруг меня опять стало светло, и в то же мгновение услышал я шум проливного дождя. Но дождя не было, и я, осмотревшись, понял, что шум происходит от того, что много людей одновременно бьет в ладоши. Потом было что-то еще, какая-то смесь огней, людей, лошадей, потом мы очутились дома, и я должен был признаться, что нянина деревня мне очень понравилась, и что я хочу сейчас же ехать туда опять. Мне сказали, что скоро опять поедем, когда там будут «Волшебные пилюли». А сегодня была «Кипрская статуя».

С того дня всё мое детство окрашено страстью к балету и не вспоминается мне иначе, как в связи с ним. Балет возымел решительное влияние на всю мою жизнь, на то, как слагались впоследствии мои вкусы, пристрастия, интересы. В конечном счете, через балет пришел я к искусству вообще и к поэзии в частности. Большой театр был моей духовной родиной. С благоговением и благодарностью вспоминаю его торжественное великолепие, его облачный и мифологический плафон, его пышную позолоту, алый бархат партера, пурпурный штоф занавесей в его ложах, величавую и строгую пустоту царской ложи, в таинственном мраке которой тускнеет зеркало; в большие дни зажигаются там золотые тяжелые канделябры. Мне до мелочей памятны полукруглые коридоры театра, отшлифованные ступени его каменных лестниц и совершенно особенный,

неповторимый, немного приторный запах зрительного зала: он казался мне смесью шоколада, духов и сукна.

Вряд ли мир видел столь юного балетомана. Однако лет с четырех я стал именно балетоманом и благодаря этой ранней сознательности помню такие балетные времена, каких сверстники мои, разумеется, уж не помнят. Очень скоро, без посторонней помощи, силою лишь любви и внимания, научился я отличать друг от друга не только балеты, но и отдельных артистов и даже тонкости их восхитительного ремесла. Уже весьма пожилую, уже сходящую со сцены Гейтен, признаюсь, помню смутно. Зато отчетливо видятся мне и милая Рославлева с мягкою задушевностью ее танца, и хрупкая Джури, с ее игольчатыми движениями, и — вся быстрота и огонь — Федорова 2-ая, и чистый профиль Домашевой 2-ой (той, что позднее перешла в драму), и первые успехи восходящей звезды — Гельцер.

В годы раннего моего балетомантства обстановочная часть находилась в руках «машиниста и декоратора» Вальца. Впоследствии к ней привлекли настоящих художников. С появлением Клодта и в особенности К.А.Коровина декорации и костюмы, разумеется, много выиграли в отношении художественном. Коровинская «Эсмеральда» была событием. Но должен признаться, что о пресечении вальцевской традиции мне порою хотелось вздохнуть. Постановки Вальца были отчасти безвкусны, но в них было столько таланта и волшебства, в самом безвкусии было столько прелести, а в их наивном натурализме столько нечаянной и прелестной условности, что их всё-таки нельзя не назвать очаровательными. В 1921 году, в Петербурге, случилось мне видеть «Раймонду», поставленную в выцветших, «дореформенных» декорациях того же стиля,— это было необыкновенно хорошо.

Было бы удивительно, если бы увлечение балетом

не вызвало с моей стороны попыток самостоятельного творчества в том же роде. И в самом деле — по целым дням вертелся я на ковре в гостиной, импровизируя перед трюмо целые балеты, в которых я был единственным действующим лицом,— так сказать, монобалеты. К кому-то из моих братьев порой заходил артист Большого театра Дмитрий Спиридонович Литавкин. Я смотрел на него с обожанием. Как танцовщик, принадлежал он к числу заметных, но все же второстепенных величин. В «Коньке-Горбунке» и в «Жизни за Царя» танцевал он мазурку в первой паре — это была его коронная роль. Он дал мне несколько уроков или, вернее, показал несколько приемов, благодаря которым мои упражнения перестали быть слишком дилетантскими. По-видимому, способности к танцам у меня были очень большие. Меня показывали знакомым, как чудо-ребенка. Общие одобрения доходили до того, что хоть родители мои были людьми старинных воззрений, всё же весьма серьезно обсуждался вопрос, не следует ли меня впоследствии отдать не в гимназию, а в театральное училище. К этому всё и шло, и я уже воображал себя на голубой, лунной сцене Большого театра, в трико, с застывшей улыбкой на лице, округленно поднявшим левую руку, а правой — поддерживающим танцовщицу в белой пачке, усеянной золотыми блестками. Этим мечтам не суждено было исполниться. Лет шести я стал хворать бронхитами. Доктор Смит объявил, что мои легкие не выдержат балетной учебы. Я покорился, потому что был очень послушным ребенком, и потому, что к тому времени начались у меня некоторые другие увлечения, о которых скажу впоследствии. Тем не менее, я и теперь иногда жалею, что не довелось мне стать танцовщиком. Навсегда сохранилась у меня любовь к балету. Я люблю танцовщиков и танцовщиц — хотя бы просто за то, что они избрали себе красивое и утешительное поприще, на котором не довелось мне

стать их товарищем. Мне всегда хочется видеть их счасливыми, и смерть кого-нибудь из них меня всякий раз глубоко волнует.

Я забыл сказать, что в балетных своих упражнениях я неизменно изображал танцовщицу, а не танцовщика. Оно и понятно: в классическом балете танцовщице принадлежит роль несравненно более видная и выигрышная. Должно быть, это обстоятельство (в связи с моей хрупкостью) отчасти способствовало тому, что во мне развились черты и наклонности женственные. Я не очень любил играть с детьми, но уж если играть, то предпочитал с девочками. К тому же и рос я, так сказать, в гинекее: с мамою, с няней, с бабушкой, с сестрой Женей. Женя же (хоть она и уверяет теперь, будто это неправда) была и осталась отчаянной модницей. Мне нравилось, что она такая нарядная, тоненькая и стройная, что у нее красивые руки и ноги, что даже коричневое гимназическое платье с черным фартуком так хорошо на ней сидит. То и дело она совещалась с мамой и Сашенькой (домашней портнихой), ходила по магазинам, рассматривая модные картинки. Я стал очень недурно разбираться в дамских нарядах, потому что во мне развилось к ним внимание, и уверен, что до сих пор кое-что в этом смыслю. Главное же — я сам стал настоящий франт. Помню дикий скандал, учиненный мною из-за того, что на матросский воротничок нашили мне какой-то мещанский золотокрасный сутажик, тогда как хороший тон требовал широкой белой или черной тесьмы. Я терпеть не мог дурно одетых дам и любил гулять с Женей, потому что она была хорошо одета. Чаще всего мы ходили в Солодовниковский пассаж, в котором я знал наизусть все магазины: Ускова (материи), Рудометкина (приклад, сейчас же у входа, слева), Семенова (тоже приклад, но ужасно дорого!). Пассаж был местом прогулок, свиданий, ухаживаний. Московские львы в клетчатых серых брюках

разгуливали по нему с тросточками или стояли у стен «заглядывая под шляпки», как тогда выражались. Пианист Лабоди, автор популярных вальсов, и крошечный офицер Тишенинов (впоследствии генерал) считались, кажется, первыми сердцеедами. В соседнем пассаже, Голофтеевском (где однажды в год служились молебны, после которых играл оркестр, и публика гуляла по каменным плитам, устланным можжевельником); случилась со мною история. Мама зашла в меховой магазин Михайлова (в тот, у дверей которого дежурили полосатый тигр и бурый медведь с деревянным подносом в лапах), мне же велела ждать, сидя на скамеечке. Через несколько минут нетерпение, вечный враг, стало меня терзать. Я вообразил, что мама обо мне забыла и вышла в противоположную дверь: магазин был сквозной. Не растерявшись, решил я идти домой и стал искать, кто бы мог меня проводить, Наконец, я увидел барышню, достаточно нарядную и хорошенькую блондинку, с которой не стыдно пройти по улице (блондинки мне нравились, я твердо решил жениться на блондинке, которую будут звать Марией). Подойдя к ней, я шаркнул, приподнял шапочку и сказал:

— Проводите меня домой, я потерялся.

Потом мы шли с барышней по Кузнецкому переулку вверх, и я занимал ее рассказами о своих танцах. Дойдя до дому, я заставил свою спутницу подняться по лестнице и позвонить, потому что мне было не дотянуться до звонка. Пока открывали дверь, барышня исчезла. Няня при виде меня обомлела и, закинув меня на плечо, помчалась назад к пассажу. Перед пассажем увидели мы толпу народа, окружавшего маму, которая билась в истерике. Ей не столько сочувствовали, сколько ее ругали. Встреча была патетическая, но дома меня поставили в угол.

С няней ходил я в Александровский сад, а чаще — в Нарышкинский сквер. Я ехал на трехколесном

велосипеде, а няня шла рядом. Узкая полоса тротуара перед выступающим вперед крыльцом университетской типографии была покрыта чугунной плитой с нарезками. Проезжать по ней мне казалось очень опасно и трудно, плита же под колесами велосипеда глухо гремела, и от нарезов по велосипеду бежала жесткая дрожь, от которой в локтях становилось щекотно. В сквере была отгороженная площадка для детских игр. Няньки сидели кругом на лавочках — то был настоящий клуб нянек и гувернанток, а кстати и рекомендательная контора. К няне моей то и дело подходили какие-то женщины в толстых «дипломатах» и непременно — с толстым клетчатым или серым платком на руке. Подсаживаясь, они каким-то льстивым и таинственным голосом говорили:

— Миленькая, не слыхали ли местечка?

Это «местечко» казалось мне чем-то таинственным, чем-то вроде сердечка: оно где-то бьется часто и мелко, как часики,— иногда его, вероятно, можно расслышать, но как и где, и почему именно няня могла его слышать, и зачем оно нужно всем этим женщинам?

В 1918 году, когда большевиками овладела мания ставить памятники, на этой площадке водрузили почему-то памятник Генриху Гейне. Какой-то чахоточный господин с бородкой сидел в кресле, а у ног, ластясь, примостилась полуголая баба с распущенными космами — не то Лорелея, не то Муза. Памятник сделан был из какой-то белой дряни и внутри пуст.

Зимой 1921 года я проходил мимо него. У Гейне нос был совсем черный, а у Лорелеи отбили зад, на месте которого образовалась дыра, наполненная грязной бумагой, жестянками и всяким мусором. Детей не было, не было даже ворон на голых деревьях.

Однажды, когда мы с няней шли домой и собирались переходить улицу, городовой нас

остановил, и в ту же минуту по коночным рельсам, у самой ограды сквера, в трех шагах от меня, проехала открытая коляска. Толстый кучер правил парою вороных лошадей, шедших тяжелым, медленным «тропцем». В коляске, ближе ко мне, сидела дама, вся в черном, а рядом с ней человек в военном мундире. Кто-то рядом сказал: «Государь!» Няня сдернула с меня шапочку. Я хорошо разглядел и навсегда запомнил повернутое к государыне лицо Александра III, с ровно подстриженной бородой, лицо, показавшееся мне милым и добрым в своей крупной, мясистой мягкости, и тяжелый взгляд из-под бровей, крепко сдвинутых.

Государь мне очень понравился. В тот же день (или на другой день) мы с няней пошли смотреть его на площадь перед генерал-губернаторским домом. Толпа ждала его выхода и долго ревела «ура», когда на балкон вышла группа военных, в которой я не успел различить государя. Вечером на Большой Дмитровке горела иллюминация. От фонаря к фонарю на проволоках висели разноцветные шкалики, а на тумбах вдоль тротуара, чадя и шипя, полыхали плошки. Их пляшущие огни делали страшными лица прохожих, и страшными мне казались огромные тени флагов, летавшие по домам.

С осени 1886 года жили мы на Большой Дмитровке, в доме Нейдгардта. В те времена московские дома различались не по номерам, а по фамилиям домовладельцев, которые, впрочем, редко писались над воротами. Обычно, чтобы найти нужный дом, приходилось справляться у местных жителей. Это неудобство, однако же, придавало московской жизни своеобразный уют, с которым москвичи не хотели расстаться: вплоть до революции наряду с официальной нумерацией (при которой дом Нейдгардта получил ном. 14) сохранялся обычай звать дома по фамилиям.

Прямо против наших окон приходилось красивое старинное здание, выстроенное в стиле московского ампира. Теперь его уже нет. В нем помещалось нечто вроде кафе-шантана, носившего имя «Салон де варьете». По вечерам подъезжали к нему коляски, лихачи, тройки; за освещенными окнами виднелась нарядная публика. Место считалось весьма неприличным, и моей сестре было строго запрещено по вечерам подходить к окну. Я же перед окном в столовой проводил целые часы, то с книгой, то расставляя солдатиков на широком подоконнике, несколько загроможденном горшками с фикусами, филодендронами и другими растениями, бывшими в моде. Всего же чаще я просто глядел на улицу, довольно, впрочем, пустынную: трамвай прошел по Большой Дмитровке много позже, а тогда не было даже конки. Несколько наискосок от нас помещалась пивная, в узкую дверь которой то и дело шмыгали люди в чуйках, рабочие, оборванцы, порою — солдаты с бабами; зимою из двери вырывались клубы занимавшего меня пара. По обеим ее сторонам были синие вывески с пенистыми кружками и надписями: над кружкою — «Кружка пива», а внизу — «5 коп.».

Каждый день ровно в три часа к нашему дому подъезжала шикарная узенькая пролетка без верха, так называемая эгоистка, зимой — такие же узкие сани. Это домовладелец, камер-юнкер Александр Борисович Нейдгардт, красивый молодой господин с русыми усами, в черном пальто с бархатным воротником и в цилиндре либо в бобровой шинели и высокой бобровой шапке, являлся наводить порядок. Старший дворник Антон уже ждал его у ворот, а потом долго ходил за ним по лестницам и дворам, держа шапку в руках: ни в дождь, ни в мороз шапку надевать не дозволялось. Демократическое население дома ненавидело Нейдгардта и называло его Богородицей. Детей, обычно играющих на дворе,

перед его приездом дворники разгоняли. Двор пустел.

Как памятен мне этот двор, квадратный, немного покатый к воротам, сперва мощенный мелким булыжником, потом залитый асфальтом. Памятно мне и его население: вдова Горбунова с двумя сыновьями-гимназистами, акушерка Баркова, многосемейный портной Раич, страдающий ревматизмом, зимой и летом ходивший в валенках, Аксинья, торговка яблоками, вечно пьяная старуха, тощая и презлющая, готовая «осрамить» кого хочешь; в пылу перебранки сражает она противника тем классическим аргументом, каким баба Ивана Никифоровича поразила Ивана Ивановича: повернувшись спиной, подымет юбки. Порою проходят мастерицы модистки Шипулиной — гордячки ужасные; в синих коленкоровых платьях и белых пелеринках, с ножницами на поясе, пробегают девочки из модной мастерской Екатерины Алексеевны Ильиной; среди них — Анюта, молочная сестра моя: она за что-то наказана и осуждена всю неделю носить бумажный колпак. Иногда я вывожу из сарая, точно коня, свой велосипед и катаюсь по двору. Иногда мы играем в чижики с маленьким сыном Раича либо с губастым Степкой, сыном шипулинской кухарки.

Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною — покатая железная крыша — навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, всё переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю — и вдруг двор, который был подо мной,

стремительно подымается вверх, всё перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мной с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкой под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится, и прикладывается ко всем иконам, и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не на смерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол.

Меня наказали за то, что я был неосторожен, и для того, чтобы я был вперед осторожнее. Но такая логика детскому уму недоступна, либо еще хуже — представляется ему лживою казуистикой. По-моему, выходило просто, что меня наказали за то, что я упал из окна. Иными словами — вместо того, чтобы меня жалеть, утешать и даже вознаграждать за Бог весть откуда свалившееся несчастье, — мне причиняют новое, незаслуженное горе. Такие случаи были часты в моем детстве, как вероятно, в детстве каждого из нас. Я их переживал мучительно. Мне казалось не то ужасно, что именно со мною несправедливы, но что вообще — как можно жить в мире, где делается такое? От этих мыслей я как бы внутренне задыхался, захлебывался. Надо еще прибавить, что я был необычайно серьезен (актер Сашин, известный в свое время комик, прозвал меня маленьким старичком) — над серьезностью этой подтрунивали, и тогда я

казался себе предметом общего издевательства. Однажды на даче кухарка Агафья резала цыплят. Отрезав цыпленку голову, она выпускала его из рук; истекая кровью и шатаясь, как пьяный, безголовый цыпленок бежал несколько шагов по траве и падал. Какие-то бабы смеялись. Случилось после того, что сестра меня чем-то обидела — я заревел. Она надо мной подшутила. Тогда, свету не взвидев, я высказал всё, что в душе скопилось:

— Да, вот — зарезали петуха и над ним смеетесь!

Как многие дети, я часто задумывался, не подкидыш ли я, и преисполнялся к себе жгучею жалостью. Порою после какой-нибудь неприятности я находил наслаждение в том, что изо всех сил бередил эту рану. Я запирался в самом отдаленном и отнюдь не для того предназначенном уголке квартиры, и там, в тесноте, при свете огарка, предавался страшным мечтам. Мне виделись душераздирающие семейные сцены, навеянные чтением Диккенса и Шпильгагена. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: «он». Каждый раз все кончалось тем, что «он», произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, всё устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: «Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым». Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания — и сам начинал плакать. То были, однако, сладкие слезы, очистительные, как все, проливаемые над вымыслом. Свое странное убежище я покидал умиротворенный и размягченный сердечно, в некой духовной приподнятости, и давал себе слово впредь быть именно таким хорошим и великодушным, каким только что себя воображал.

Приступы сих трагических переживаний особенно часты были, когда мне было лет восемь и я уже учился

в школе. Постепенно они начали себе находить выражение и отчасти исход в стихах, слагавшихся, впрочем, под влиянием литературных образцов особого рода. Но тут я хочу вернуться немного назад, к самому возникновению писательских моих опытов.

Мне было лет шесть, когда сочинил я первое двустишие, выражавшее самую сущность тогдашних моих чувств:

Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает — Женичку.

Не следует думать, что это двустишие вовсе лишено рифмы. В основу рифмоида «люблю — Женичку» положено очень верное чувство рифмы и ритма. В книжной поэзии я помню только один случай такой рифмовки дактилического окончания с мужским: «антраша» и «профессорша» у Андрея Белого в «Первом свидании». Она, однако же, часто встречается в народных песнях, от самых старых до современных частушек включительно. Гораздо труднее мне было бы защитить другое стихотворение, сохранившееся в моей памяти. Оно было навеяно вербным торгом, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:

Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездиют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.

Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова — не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым

отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито, как мое собственное. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым *своим* стихотворением считает «Казачью колыбельную песню» Лермонтова.

Тогда же я пробовал силы в драматургии. Симметрия, должно быть, казалась мне основным архитектоническим законом драмы. Поэтому в толстой клеенчатой тетради сосчитал я страницы, разделил ее на четыре равные части и в соответствующих местах надписал: «Действие первое», «Действие второе», «Действие третье», «Действие четвертое». Затем тетрадь была заполнена текстом, представлявшим собою комедию «Нервный старик» — подражание какой-то комедии Мясницкого, которую в то время мои братья репетировали для любительского спектакля. За комедией последовала драма «Выстрел». Страницы были отсчитаны, как и в первый раз, но дальше одной сцены дело не пошло. Зато эту сцену я помню в точности: «Гостиная в доме г-жи Ивановой. Г-жа Иванова, г-жа Петрова. Перед поднятием занавеса за сценою слышен выстрел.

Г-жа Петрова. Ах, что это такое? Кажется, выстрел!

Г-жа Иванова. Не беспокойтесь, пожалуйста. Это мой муж застрелился».

В столь юном возрасте человек развивается быстро. Вскоре я стал писать стихи гораздо более осмысленные. То были четверостишия или шестистишия нравоучительного содержания, вроде апологов Дмитриева, но, разумеется, чрезвычайно наивные. (Впрочем, и дмитриевские апологи довольно грешат наивностью: недаром Пушкин с Языковым так потешались над ними). Наконец, от апологов перешел я к чистой лирике, в которой пытался передать сердцещипательные и надрывные свои переживания.

Романы дали толчок содержанию. Форму пришлось заимствовать из другого источника. Сестра, братья, какая-то молодежь, бывавшая в доме, порой напевали романсы, отчасти цыганские, отчасти салонные. «Очи черные», «Глядя на луч пурпурного заката» и тому подобные произведения сделались моими литературными образцами. Романс, начинавшийся словами:

Как прощались,
Расставались,
Слезы так текли рекой,
Но мы вскоре
Забудем горе,
Лишь увидимся с тобой,—

казался мне верхом поэтического совершенства. Я стал сочинять любовные романсы самого что ни на есть унылого содержания и порою при этом пускал слезу. Кто-то мне подарил целую пачку карне де баль; то были кусочки разноцветного глянцевого картона, сложенные пополам; на второй странице отпечатано было золотом расписание танцев, а прочие три оставались чистыми. К каждой такой тетрадочке на розовом или голубом шелковом шнурке был привешен тоненький лакированный карандашик, тоже розовый или голубой. Этими-то карандашиками и писал я, покрывая чистые страницы тетрадочек томными стихами, в которых неизменно фигурировали такие поэтические вещи, как ночь, закат, облака, море (которого я никогда не видел) и тому подобное. Моя «поэзия» явно носила оттенок салонный и бальный, сам же я казался себе томным, задумчивым и несчастным юношей, готовым умереть от любви и чахотки. Чахотка мне угрожала действительно. Доктор Смит прописал мне креозот, который я пил в изрядном количестве в молоке прямо из чашки, чем и сгубил навсегда свои зубы. Сладковатый вкус и дегтярный запах креозота мне очень нравились (и нравятся до сих пор).

В то время (лет восьми) стал я ходить в детское училище Л.Н.Валицкой, на Маросейке. В классе, состоявшем поровну из мальчиков и девочек, поражал я учительниц прилежанием и добронравием. Смирение мое доходило до того, что даже на переменах я не бегал и не шумел с другими детьми, а держался где-нибудь в стороне. Только уроки танцев выводили меня из неподвижности. С необычайной тщательностью выделывал я свои па, а когда доходило дело до вальса, воображал себя на балу и предавался сладостным мукам любви и ревности. Эти муки были небеспредметны. Сердце мое было уязвлено моей одноклассницей, Наташей Пейкер, в самом деле — прелестной девочкой. Не думаю, однако, чтобы я танцевал с ней больше двух или трех раз: до такой степени я перед нею робел, столь недоступной она мне казалась.

Здоровье мое было слабо. Летом 1895 года решено было везти меня не на подмосковную дачу, как всегда, а на Волгу, под Ярославль, где жила старшая из моих сестер. Мы с мамою поселились в восьми верстах от Ярославля, в Толгском монастыре, основанном на берегу Волги в честь явленной иконы Толгской Божией Матери. Мы жили в монастырской гостинице, довольно пустынной, с широкими сводчатыми коридорами, в которых всегда пахло черным хлебом, и с просторными, тоже сводчатыми комнатами. Волга и пароходы мне чрезвычайно нравились. К приходу каждого парохода (из которых только один, «Князь Михаил Тверской», был двухэтажный) я бегал на самолетскую пристань, где всякий раз служились молебны. У самой гостинницы находилось небольшое кладбище с обомшелыми, вросшими в землю плитами. За кладбищем начинался большой монастырский парк, преимущественно состоявший из кедров. Туда я ходил гулять и там понемногу завел знакомства с монахами. Один из них рыжий, как огонь, тощий и горбоносый отец Александр,

монастырский живописец, особенно меня полюбил. Из кедровой коры смастерил он лодочку с парусом — я пускал ее на маленьком пруду в парке. Иногда сам настоятель монастыря появлялся в аллее. Я подходил под благословение. Случалось — он брал меня за руку, и мы немного гуляли вместе.

В конце лета приехал на Толгу Иоанн Кронштадтский. Под вечер толпа народу встречала его на берегу и провожала в монастырь. На следующее утро служил он обедню — меня с другими детьми поставили впереди. В тот же день, часа в четыре, я по обычаю побежал в парк. О. Иоанн шел с настоятелем и о.Александром. Он благословил меня и спросил, как зовут. Он держался необыкновенно просто и куда менее осанисто, чем многие из знакомых моих монахов. Такое же простое было у него и лицо — оно показалось мне очень женственным и деревенским, и мне было странно, что он окружен таким почитанием. К вечеру он уехал. Толпа народа вновь собралась на берег с иконами и хоругвями. Пароход отчаливал, было ветрено и прохладно. Отец Иоанн стоял один на корме, ветер трепал его рясу и волосы. Так продолжалось, пока пароход не ушел совсем далеко. Толпа не двигалась. Было так тихо, что слышался плеск воды, набегавшей на берег, и так прекрасно и грустно, что я заплакал.

1933 г.

МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

I

Чтобы проникнуть в это святилище, пришлось сшить черные брюки и к ним — двусмысленную тужурку: не гимназическую, потому что черную, но и не студенческую, потому что с серебряными пуговицами. Должно быть, я в этом наряде похож был на телеграфиста, но всё искупалось возможностью попасть, наконец, на вторник: по вторникам происходили в Кружке литературные собеседования. Говорила о них вся Москва. Гимназистам в Кружок ходу не было.

Первый вторник, на который мне удалось пройти, был посвящен поэзии Фета. Нужно думать, что было это по случаю десятилетия со дня его смерти, т. е. в конце 1902 или в начале 1903 года. Следовательно, мне было шестнадцать лет, я был в седьмом классе гимназии.

Доклад читал Брюсов. На освещенной ярко эстраде, за длинным столом, на котором по темно-зеленому сукну были разложены листы бумаги и карандаши, осанисто восседали люди, тогда еще мне неведомые. То были члены литературной комиссии. Брюсов стоял у пюпитра, сбоку, и говорил, обращаясь к публике, а не к ним.

«Лицо — зеркало души». Это, конечно, верно. Но так называемая наружность, всё то, что в человеческом облике подвержено обработке при помощи парикмахера

и портного — мало сказать: обманчиво. Оно лживо. В Брюсове были замечательны только огненные глаза да голос, — «орлиный клекот», которым выбрасывал он резкие, отрывистые слова. Весь же он, некрасивый, угловатый, в плохоньком сюртучке и в дешевом галстуке, был просто невзрачен по сравнению с олимпийцами, величаво и неблагосклонно ему внимавшими. Оно и понятно: литературная комиссия состояла из видных адвокатов, врачей, журналистов, сиявших достатком, сытостью, либерализмом. В ней председательствовал председатель правления — психиатр Баженов, толстый, лысый, румяный, курносый, похожий на чайник с отбитым носиком, знаток вин, «знаток женского сердца», в разговоре умевший французить, причмокивать губами и артистически растягивать слова, «русский парижанин», автор сочинения о Бодлере — с точки зрения психиатрии. Лет тринадцать спустя, во время великой войны, чайник забурлил патриотизмом; очутившись во главе какой-то санитарной организации и будучи в чине действительного статского советника, Баженов облекся в шинель на красной подкладке и в военный генеральский мундир с золотыми бахромчатыми эполетами: кто-то его назвал зауряд-фельдмаршалом. Но тогда, в 1902 г., он с явным неодобрением слушал речь непризнанного декадентского поэта, автора «бледных ног», восторженно говорившего о поэзии Фета, который, как всем известно, был крепостник да к тому же и камергер. Неодобрение разделялось и остальными членами комиссии, и подавляющим большинством публики. Когда начались прения, поднялся некто, имевший столь поэтическую наружность, что ее хватило бы на Шекспира, Данте, Гете и Пушкина вместе. То был Любошиц, фельетонист из «Новостей Дня». Рядом с ним Брюсов имел вид угнетающе-прозаический. Любошиц объявил напрямик, что поэзия Фета похожа на кокотку, скрывающую грязное белье под нарядным платьем. Этот образ имел

успех потрясающий. Зал разразился бурей аплодисментов. Правда, говоря о Фете, Любошиц приписал ему чьи-то чужие стихи. Правда, бурно выскочивший на эстраду юный декадентский поэт Борис Койранский тут же и обнаружил это невежество, но его уже не хотели слушать. Ответное слово Брюсова потонуло в общественном негодовании.

После доклада и прений настала самая оживленная часть вечера — в столовой. Когда я вошел, в ней было еще пусто. Лишь за одним столиком, занимая всю ширину его, сидел толстяк в сюртуке. Крахмальная салфетка, засунутая углом за воротник, покрывала его грудь. Огромная светлорусая борода была распущена веером по салфетке. Блестя золотыми очками и лоснясь лицом, толстяк жевал, чмокал, чавкал, посапывал. Столовая наполнялась, к нему подходили знакомые, он молча пожимал руки, продолжая жевать. Ужинали до позднего часа, но и когда все уже уходили, он всё так же сидел и ел. Я спросил, кто это. Мне ответили: писатель Михеев. По юношеской наивности я счел нужным притвориться, будто он мне известен.

Таких литературных деятелей, как Михеев, в Кружке было видимо-невидимо. В сущности, они даже задавали тон. Не скажу, однако, чтобы Кружок показался мне учреждением ничтожным. Напротив, и тогда, и много еще лет, до самой его кончины в 1917 г., я был, подобно другим, уверен, что в нем совершаются важные литературные события. Сперва нелегально, потом на правах гостя, потом в качестве действительного члена, побывал я на бесчисленном множестве вторников и чьих только докладов не слышал. Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов — не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В

Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес. Тогда всё это казалось ужасно значительно и нужно — на поверку вышло не так. Действительная литературная жизнь протекала вне Кружка, осаждаясь в нем лишь сумятицей и шумихой, подчас вредной и пошлой. Если случалось кому-нибудь сказать слово действительно ценное, содержательное, — оно тонуло в прениях, в которых участвовать мог любой профессиональный краснобай, любой просто невежда, уплативший полтинник за вход и за право публично высказаться. Для серьезной беседы аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать иль ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиных. Эта аудитория влияла и на докладчиков, которые нередко приспособлялись к ее понятиям и вкусам или напротив — старались ее подразнить. На эту тему расскажу анекдот.

Дело было в 1907 году. Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. Вечером взяла она его с собой, идя на очередную беседу. Не успела она войти — кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек пятнадцать наших друзей оказались украшенными желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. В годы гражданской войны белые багровели от его большевизанства, а красных доводил до белого каления речами вовсе противоположными. В тот вечер вздумалось ему читать

на какую-то сугубо эротическую тему — о 666 объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу «ложу». Что было делать? Мы не отрицали ее существования, но говорили, что доступ в нее очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось еще раза два покупать желтые нарциссы.

Вернемся, однако, к докладам. Многие из них были просто плохи. Из песни слова не выкинешь — пора признаться, что самый плохой прочел я: в 1911 году, о Надсоне. Конечно, я был мальчишка, но всё-таки стыдно вспомнить, что это был за претенциозный и пустой набор слов. Да, из песни слова не выкинешь: после доклада настали прения — и тут мне изрядно и поделом влетело от В. Потемкина, недавнего полпреда парижского. Чтобы меня утешить, друзья меня чествовали ужином. Я бодрился, но на душе было отвратительно: не от провала, но от того, что сам понял, каких слов наговорил.

Была у Кружка библиотека с читальней. И то, и другое было поставлено образцово. В библиотеке имелось много ценных и даже редких изданий, в читальне получались газеты и журналы в большом количестве, русские и иностранные. Однако рядовые члены Круж-

ка сравнительно мало пользовались этими благами, потому что старыми книгами не слишком интересовались, а новые предпочитали покупать, чтобы поскорее быть «в курсе литературы». В читальню заходили редко и главным образом для того, чтобы вздремнуть или подождать, когда соберутся партнеры в винт или в преферанс. В последние годы Брюсов затеял издавать «Известия» Кружка — нечто вроде критического и историко-литературного журнала. Вышло всего книжек десять.

Гораздо более жизни сосредоточено было в Кружковской столовой. Часам к 12 ночи она всегда наполнялась. Съезжалась, действительно, вся интеллигентская и буржуазная Москва — из театров, с концертов, с лекций. Здесь назначались свидания — литературные, деловые, любовные. Официально считалось, что цель столовой — предоставить дешевые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но на самом деле было не так. Действительно нуждающихся в столовой Кружка никто, кажется, не видал, а дешевые ужины запивались дорогими винами. Вина и люди естественно распределялись по столикам. Золотые горла бутылок выглядывали из серебряных ведер со льдом — на столиках Рябушинских, Носовых, Гиршманов, Востряковых. Здесь ужинали не шумно и не спеша. Шум, говор, приходы, уходы, писание стихов и любовных записок, тревога, порой истерика — господствовали за столиками «декадентов», где коньяк и мадера считались «национальными» напитками; коньяк принято было пить стаканами, иногда — на пари: кто больше? Поодаль располагались «знаньевцы» и «реалисты», в большинстве — поклонники Удельного Ведомства. Почему-то всегда мне казалось, что как гимназисты хотят быть похожими на индейцев, так «реалисты» — на охотников (может быть — в честь Толстого и в память Тургенева). Им нехватало только собак и ружей.

Некоторые плохо умели обращаться с ножом и вилкой и пускали в ход натуральные пятерни — быть может опять-таки из желания быть ближе к природе. С этого столика поминутно доносилось: «Лев Николаевич», «Антон Павлович» или коротко — «Леонид»: все старались прихвастнуть близостью к Толстому, Чехову, Леониду Андрееву. Изредка появлялся сам Леонид Андреев — в зеленой бархатной куртке, шумный, тяжелый, с тяжелым взглядом. Перед ним заискивали — он был похож на своего «Человека», окруженного «Гостями». Однажды видел я там Скитальца — как бы живое удешевленное издание Максима Горького: те же сапоги, блуза, ремённый пояс, но на лице — незначительность даже замечательная. Около часу ночи появлялся Л. М. Лопатин, и тогда как бы начинал бытие свое стол профессорский, тихий, скучный, с бутылкой «благоразумного Бордо» и многими бутылками сельтерской. Журналисты смешивались с артистами, с писателями, с профессорами, семеня от столика к столику и стараясь показать, что они везде — свои люди. Иногда вваливался Дорошевич, изображавший барина и европейца. Нюхая табак и всех хлопая по плечу, всем говоря «ты», походкой Тараса Бульбы, лысый и сивоусый, прохаживался милый старик Гиляровский, стараясь придать свирепое выражение добрейшему своему лицу. Были еще столы общественных деятелей. За ними порой появлялись именитые гости, члены Государственной Думы, приезжавшие из Петербурга, чтобы, подобно былым гусарам,

.....явиться, прогреметь,
Блеснуть, пленить и улететь.

За этими столиками говорилось, должно быть, столько же, сколько за всеми остальными вместе. Речи были предерзкие и чуть ли не революционные, но

не надобно было пугаться их. Вновь говоря словами поэта,

Сначала эти заговоры
Между Лафитом и Клико.
Всё это были разговоры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука.
Всё это было только скука —
Безделье молодых умов,
Забавы взрослых шалунов.

Часам к четырем ночи жизнь в столовой начинала замирать, но бурно еще продолжалась в самой живой части Кружка — в карточных комнатах. Но прежде, чем покинуть Кружок, заглянем в нижний этаж, туда, где узенький коридор ведет мимо кассы в биллиардную. Здесь полумрак, но освещены зеленые плоскости биллиардов. Тихо, никого уже нет. В углу дремлет маркер. М. П. Арцыбашев, автор «Санина», один пощелкивает шарами.

II

Помню, как сейчас. Я сижу между Толстым и Достоевским. Толстой ставит в банк три рубля, я открываю восьмерку, он пододвигает мне карту и зеленую трешницу. Я оставляю ее в банке. «Карту», — говорит Достоевский, и тóже открывает восьмерку. Тотчас, однако, он брезгливо приподымает трешницу, держа ее за угол кончиками ногтей, и цедит сквозь зубы.

— Такую грязную бумажку я не приму.

Остолбенев, я не успеваю ему ответить, как Толстой вмешивается:

— Эту бумажку я пустил.

Достоевский: В таком случае, вы ее и перемените.

Толстой: Даже не подумаю, я ее не сам делал.

Достоевский: Весьма вероятно. Но может быть вы ее сами замуслили?

Разгорается ссора, во время которой Толстой грубит, а Достоевский язвит и нервничает, покрываясь красными пятнами.

Всё это — не ложь и не бред. Просто, действие происходит в игорной зале Литературно-Художественного Кружка, в 1907 или 1908 году, и участвуют в нем не *те самые* Толстой и Достоевский, а их сыновья, впрочем — уже пожилые: Сергей Львович и Федор Федорович. Кончается всё тем, что окружающие, потеряв терпение, зовут дежурного директора, который решает спор в пользу Толстого. Достоевский встает и уходит. Игра продолжается.

Огромное помещение (особняк Востряковых на Большой Димитровке, куда Кружок переехал, кажется, в 1904 году), большой штат служащих, литературные и исполнительные собрания, спектакли, елки, библиотека, благотворительная деятельность — всё это далеко не покрывалось членскими взносами, входной платой с гостей и доходами от буфета. Как ни было это конфузно, Кружок жил и мог жить только картами — да не какими-нибудь невинными коммерческими играми, а «железкой». Железка начиналась часов в десять вечера и продолжалась до семи утра, а в некоторые периоды даже до часу следующего дня. После половины второго ночи за пребывание в игорной зале взимался прогрессивный налог, так называемый «штраф», начинавшийся с тридцати копеек и к пяти часам утра достигавший тридцати с чем-то рублей с персоны. Штрафами Кружок существовал и даже богател. Под конец располагал он значительным капиталом.

Ежевечерне составлялось, в среднем, по десяти столов. За каждым сидело десять или двенадцать игроков, окруженных плотной стеной понтеров «со стороны». В общем, за ночь через игорную залу проходило, должно быть, человек триста. Столы были серебряные, за которыми минимальная ставка была в один рубль, золотые, где счет шел на пятерки, и один стол — бумажный, со счетом на двадтцатипятирублевки. За бумажным играли московские богачи, изредка — профессионалы. Тут игра шла тихо, сосредоточенно, почти без участия посторонних, «стоячих» игроков. Шум и жизнь бурлили вокруг столов золотых и серебряных. Между столами важно расхаживал в зеленом фраке своем, толстый, рыжий «карточник» Василий. На обязанности его было — составлять столы, то есть: записывать желающих играть и созывать их, когда соберется достаточное количество, он же приносил и распечатывал карты (каждый вечер на каждый стол подавалось по десяти новых, не-

распечатанных колод) и взимал за них плату, по два рубля с человека. Проигравшись, можно было занять у него до завтра несколько сот рублей — под великою, но общеизвестною тайной от дирекции и под колоссальную «благодарность». Его удалили, когда он уже был богатым человеком.

Игра была в общем мирная, патриархальная. Стычки, вроде вышеописанной, случались редко. Когда случались, — являлся из своего кабинета удивленный и заспанный дежурный директор, который всё быстро улаживал. Надо заметить, что играли хоть и азартно, но для удовольствия, а не для денег, как вообще в России, где профессионалов, людей, живущих картами, было гораздо меньше, чем, например, в Западной Европе. Самый характер игры был несравненно более благородный, спортивный.

Шулеров было совсем мало. За всё время существования Кружка поймали там лишь одного человека с «накладкой», да и тот был, в сущности, заблудший дурак, брат небезизвестного адвоката К. Из жалости к брату дело замяли, лишь на год запретив младшему К. вход в Кружок. Мальчишка оказался нахал: ровно в двенадцать часов ночи того дня, когда срок истекал, он явился в Кружок с самым развязным видом. Поймал его некий А. Я. Зайдеман, который при этом погорячился и дал К. пощечину. За это и Зайдеману, на какой-то срок, запретили вход. Публика, по обыкновению всё путавшая, говорила, будто попался сам Зайдеман. Такие слухи очень волновали его, потому что, хоть и профессионал-игрок, был он человек исключительно порядочный, к тому же умный и добрый. Игра была его стихией. Иногда, в мертвый сезон, ездил он заграницу и дважды возвращался из Монте-Карло на казенный счет: как известно, тем, кто много проиграл, в Монте-Карло дают необходимую сумму для возвращения домой. Играл Зайдеман широко, в отличном стиле. Банков не

продавал, меча до последней карты. Выигрывая, не радовался. Если очень уж не везло, он впадал в легкую меланхолию и тогда декламировал стихи Баратынского, которого знал, кажется, всего наизусть. Он и вообще хорошо знал русскую поэзию и понимал ее. Повидимому, ничего, кроме стихов и карт, он и не хотел понимать — зато сам, можно сказать, был поэтом игры. Лет восемь тому назад он умер в Париже.

Глубоко рознился от него другой профессионал Кружковский — Павел Иванович Крюков. Маленький, белокурый, безусый и безбородый, имел он в лице что-то скопческое, в движениях — автоматическое. Это был, можно сказать, аскет и подвижник игры. Кроме карт, не было у него ни страстей, ни помыслов (как, впрочем, и подобает истинному игроку). На моей памяти было у него два или три периода везения, в течение которых он выигрывал тысяч по двести рублей и более. Затем он всё спускал до копейки. Но и в эпохи подъема, как в эпохи упадка, ни в чем не менял он своих привычек, почти ничего на себя не тратя и смотря на деньги единственно как на оборотные средства для игры (как и подобает, опять-таки, благородному игроку). Жил он у Манежа, в гостинице «Петергоф», где занимал крошечный номер. Зимой и летом, в мороз и зной, всё в том же пальтишке песочного цвета, с дешевой железной тросточкой, размеренным шагом, как заводной, шел он вечером в Кружок, а под утро — из Кружка. Так проходила вся его жизнь. Человек он был тихий, и никаких слов, кроме необходимых, я от него не слышал. В глазах его была легкая, светлая сумасшедчинка.

Третий профессионал был некий Иван Иванович — фамилии не помню, да и не назвал бы ее. В сущности, профессионалом он был только наполовину, потому что была у него какая-то торговлишка. Карты служили ему подспорьем. Играл он с неслыханной выдержкой, с са-

мым отвратительным прижимом, какой мне случалось видеть. Везло ему замечательно, но он всё время хныкал — карта слезу любит. Открывая восьмерку, неизменно говорил убитым голосом, по-волжски окая: «Ну вот, всего только восьмерочка, а ведь у вас, поди, девять? Нету девяти? Ну, значит, пожалуйте денежки». Высокий, худой, небритый, на самом конце длинного носа носил он ржавые сломанные очки, перевязанные ниточкой. В каждом его движении было спокойное, сознательное хамство, которым он нарочно дразнил партнеров, заставляя их нервничать и — проигрывать. Ровно в половине второго ночи он уходил, чтобы не заплатить тридцати копеек штрафу. «Курочка по зернышку клюет», — говорил он, унося каждый раз несколько сот рублей. Вопреки завету Некрасова — никогда не понтировать против лично несимпатичных игроков, — я против него понтировал бессмысленно и упорно. То же самое делали другие, и это нам дорого стоило.

К профессионалам примыкали люди, засосанные игрой, то есть в сущности профессионалы-неудачники. Этих было очень много. Из их числа помню инженера Г., ко времени революции превратившегося чуть ли не в босяка, присяжного поверенного П., пытавшегося на скачках наверстать потерянное в Кружке и кончившего растратой клиентских денег, а затем исключением из сословия. Помню несчастную старуху Р., кривобокую, крошечную, глухую. Учительница музыки по профессии, принужденная содержать бездельника-мужа, из бывших красавцев, и подрастающего сына, картами пыталась она добыть недостающие средства. Играла мелко, опасливо; под бумажный рубль подкладывала золотую пятерку, которую открывала в случае выигрыша и тихонько брала назад, если проигрывала. Все это знали, даже ее жалели, но эти приемы сбивали счет ставок (крупье в Кружке не было, ставки подсчитывал сам банкомет)

— и старуху старались как-нибудь отогнать от стола. Иногда просто говорили: «Уйдите пожалуйста», — она не слышала. Ей кричали в ухо, она делала вид, что не слышит.

Некогда страсть к игре владела многими русскими писателями, в том числе не только выдающимися, но и великими. Достаточно вспомнить Пушкина, Достоевского, Толстого, Державина, Некрасова. Последние два в известные периоды своей жизни были даже профессиональными игроками. Наружной полиции Пушкин знаком был именно в качестве «известного банкомета» и под сим титулом значился в ее списках. К моему времени эта традиция прервалась. Более или менее постоянными посетителями карточной залы Литературно-Художественного Кружка были только поэт Семен Рубанович, поэт-самоучка Иван Белоусов, беллетристка Нина Петровская, переводчик В. А. Высоцкий, критик Абрамович (когда приезжал в Москву). Теперь эти имена никому уже ничего не говорят, да их и немного. Из людей известных могу назвать только Брюсова и В. В. Каллаша, историка литературы. По совести говоря, все они играли невдохновенно и неумело, а между тем, азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства. Меня всегда удивляло, до какой степени Брюсов, прекрасный игрок в преферанс и винт, становился беспомощен и бездарен, лишь только дело доходило до железной дороги, в которую, впрочем, он и играл сравнительно редко. Даже темперамент, ему присущий, куда-то исчезал, лишь только он садился за круглый стол. Из литераторов, которых встречал я в Кружке, некоторый врожденный талант к игре был только у Каллаша и у Высоцкого, но и этого таланта не умели они обработать и в конце концов в их игре всегда было что-то дилетантское. Другие, однако, были не в пример хуже их. На игру Белоусова, едва ли не самого постоянного из названных игроков, просто груст-

но было смотреть. Ему нередко везло, но он выигрывал, кажется, еще бездарнее, чем проигрывал.

Как всегда бывает, у кружковских игроков было много суеверий: некоторые носили с собой разные талисманы; общепризнано было, что г-жа Р., о которой рассказано выше, приносит несчастье; проигравшиеся ждали «утренников», то есть счастливых банков, которые, по их мнению, любят случаться под утро. Не знаю, так ли это, но действительно и у меня был один «утренник» вполне замечательный: я убил подряд двадцать три карты. Увы, счастливчики уже разошлись по домам, ни у кого из остающихся не было денег, и я, начав с двадцати пяти рублей, снял меньше тысячи. Теоретически, двадцать третья карта дает больше двухсот миллионов. Было это около одиннадцати часов утра... Нередко случалось мне досиживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее, когда буфет уже был закрыт, игроки в складчину посылали за ветчиной, маслом и горячими калачами, а последний дежурный официант за свой страх и риск поставлял бодрящий напиток, Европе неведомый, — кофе с ванилью. Наконец, побледневшие, постаревшие за ночь женщины и обросшие бородами мужчины, спускались в прихожую. На них накидывали пальто. На крыльце свежий утренний воздух тяжело ударял в голову. Один за другим подкатывали знакомые кружковские лихачи и, не спрашивая адресов, развозили по домам тех, кого, как поэтов, «сладостный союз» связует издревле.

1937 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь *для себя,* я вознамерился поступить на советскую службу.

В январе 1918 года покойный мой брат, присяжный поверенный, предложил мне стать секретарем только что учрежденных третейских судов при комиссариате труда московской области. Я согласился.

Фабрики и заводы тогда еще не были национализированы. Третейские суды должны были разбирать тяжбы рабочих и служащих с предпринимателями. По каждому делу составлялся суд из трех лиц. Одного судью выбирал предприниматель, другого — рабочие. Эти судьи в свою очередь выбирали третьего, супер-арбитра, но выбор их был ограничен: они должны были избрать одного из уполномоченных комиссариатом. Уполномоченных таких было два: присяжный поверенный Алексей Николаевич Васильев и мой брат.

Как водится, судьи, выбранные рабочими и предпринимателями, в сущности, были их поверенными. Действительным судьей оказывался супер-арбитр, голос которого и решал тяжбу. Так как супер-арбитр принадлежал к составу комиссариата, то в конечном счете

эти суды были правительственные, с назначенным от правительства судьей. Зачем нужно было придавать им видимость выборности и называть третейскими, и зачем они были учреждены при комиссариате труда, а не входили в состав комиссариата юстиции,— это выяснится из дальнейшего.

Впервые придя на службу, я был поражен внешним видом учреждения. Впоследствии все к таким вещам привыкли, но по началу зрелище мне показалось чудовищным. Комиссариат помещался где-то возле Ильинки (если не ошибаюсь — в Хрустальном переулке), в огромном, опустошенном здании, разумеется — нетопленом. Нижние этажи стояли почти пустые. То был ряд колоссальных зал с разбитыми окнами. Снег, врывавшийся в окна и заносимый на сапогах, оттаивал на полу, мешаясь с грязью. Кое-где устроены были переборки из свежих досок; образовались крошечные закутки с печурками, ворохами бумаг и пишущими машинками. В верхних этажах было уютнее. Но и тут снова — перегородки, пестреющие приколотыми, прикнопленными, приклеенными бумажками, с чернильными, карандашными (черными, красными, синими) и машинными надписями. Всё это — инструкции, объявления, расписания, разъяснения, правила, циркуляры, декреты и прочее. Но несмотря на инструкции, расписания и разъяснения, никто ничего не понимает: ни посетители, ни служащие. Правила противоречат друг другу, разъяснения ничего не разъясняют, и объявления ничего не делают явным. Неисчислимые отделы и канцелярии поминутно переезжают из этажа в этаж, выбрасывая из поломанных шкафов «чужие» дела и захватным порядком овладевая чернильницами. Где вчера было одно, там уже нынче другое, и отыскать вчерашнее невозможно. И вчерашний чиновник пропал, и должность его упразднили, и у кого вчера была ручка со ржавым пером, — у того утащили ее, а новую негде

взять: самому надо стащить у кого-нибудь. И бумаги, оставленные в столе — глядишь, на завтра уехали со столом — неизвестно куда. Посетители пристают в коридорах, на лестницах:

— А где здесь, товарищ, комната № 84?

— А где мне, родимый, справочку получить насчет сына. На войне он...

— А что, господин товарищ, хлебные карточки здесь выдаются?

— Шапку вы тут не видели? Вот сейчас положил — и нету.

Мимо всего этого надо скорей пробежать в свою комнату. У нас, в отделе третейских судов, очень мало служащих, а потому есть некоторый порядок.

Обязанности мои: вести протоколы заседаний и составлять третейские записи. Первое — дело не хитрое. Но второе — мучительно.

Приходят ко мне представители сторон (само собой разумеется — всегда с опозданием: ждут друг друга часами). Я проверяю доверенности и мандаты. После этого надо составить такую бумагу: «Мы, такие-то, представители такого-то предпринимателя, и такие-то, представители таких-то рабочих и служащих, согласились разрешить наш спор путем третейского разбирательства при таком-то составе суда. Вопросы, подлежащие разрешению, заключаются в том-то и том-то. Решению суда обязуемся подчиниться безусловно за себя и за своих доверителей».

И вот начинается выяснение и формулировка вопросов, подлежащих решению. Поверенный предпринимателя — почти всегда адвокат. С ним легко. Но рабочие присылают наиболее «сознательных» товарищей. Эти, прежде всего, никак не хотят понять, что состав-

ление записи — еще не суд, а я не судья. Они спорят по существу, остановить их немыслимо. На то, что я не хочу их выслушивать, они негодуют. Когда раз двадцать, на все лады, объяснишь им в чем дело, — начинается бесконечный спор о формулировке вопросов. «Сознательные» не понимают простейших редакций, которые предлагаю им я. Зато они требуют, чтобы вопросы ставились в их редакции, которую, кроме них, понять не сможет никто на свете. Наконец, иногда после нескольких «сеансов», после того, как рабочие по несколько раз возвращаются к себе на завод за инструкциями своих доверителей — запись составлена и подписана. Представители «капитала» отдуваются и вытирают потные лбы. С облегчением вздыхаю и я, хотя предчувствую, что сейчас произойдет еще одно осложнение. И оно почти всякий раз происходит. После торжественной паузы, переглянувшись с товарищами, кто-нибудь из рабочих выступает вперед и заявляет мне веско, медленно:

— Я, товарищ, должон теперь же вперед сказать, по уполномочию товарищей, что если решение суда будет не по-нашему, то мы ему не подчинимся.

Начинаю объяснять, что такое суд; говорю о том, что его определение никем не может быть предрешено; что решения третейского суда безаппеляционны. Объясняю всё это в простейших терминах, не торопясь, заставляя продумывать каждую мою фразу. Подвигаемся медленно — и приходим, наконец, к выводу, что каково бы ни оказалось решение суда, — надо будет ему подчиниться. Итак, всё улажено. Рабочие мною очень довольны и на прощание говорят мне дружески, как своему человеку:

— Ну, до свидания, спасибо. Будь, значит, по-вашему. Подчинимся значит, решению суда. Только вот наши-то навряд подчинятся. Нас-то ведь трое, а на фабрике — пятьсот человек.

Представитель кровожадного капитала смотрит на меня с ужасом. Канитель начинается сызнова. Объясняю рабочим значение их мандатов, говорю, что они подписались не только за себя лично, но и за всех. Слушают, кивают головами, поддакивают, но между собой переглядываются с таким видом, что мне становится ясно: ни к чему все мои уговоры.

Повторяю — подписание третейских записей почти никогда не происходило без этих сцен. Два раза мне так и не удалось добиться согласия на подчинение суду. Рабочие уходили, не сторговавшись со мной. Куда обращались они потом и что дальше происходило, — не знаю.

Заседания суда происходили столь же не гладко. Рабочие обязались приводить свидетелей. Ради этого откладывались заседания, но свидетели не являлись. Это не мешало рабочим требовать, чтобы суд считался с показаниями, которых не слышал. Явившиеся свидетели зачастую лгали с поразительной откровенностью. Их уличали — они даже не смущались. Припугнуть их нельзя было ничем — присяги не существовало.

Моральная обстановка суда была тяжелая: предприниматели не верили в его беспристрастие, считая, что он — большевицкий: большевики в это самое время кричали на всех перекрестках, что они учреждают свой, классовый, пролетарский суд. Рабочие суда не уважали, считая, что он должен быть их слугой. Грозили. Напоминали: мы вас поставили, мы вас и скинем. Не будучи уверены в своем авторитете, арбитры старались не решать дел перевесом своего голоса, а добиваться решения единогласного. Другими словами — стремились найти компромисс и закончить дело миром — уже после разбирательства и судоговорения. Совещания суда превращались в торг между поверенными сторон, которые, впрочем, проявляли не мало уступчивости: представи-

тель хозяина опасался, что пожалуй, по решению «большевицкого» арбитра, потеряешь больше. Судья же, приведенный рабочими, всегда помнил, что в крайнем случае его доверители просто не станут считаться с решением суда.

Когда невозможно было добиться единогласия, арбитр постановлял решение сам. Тут-то и происходило самое любопытное.

Арбитр, назначенный большевиками, судит рабочих с предпринимателями. Казалось бы — ясно, как будут решаться дела: именно так, как ожидают стороны, то есть непременно в пользу рабочих. Однако, в действительности выходило не так, и вовсе не потому, что судьи были людьми какой-то исключительной независимости. Назначенные большевиками, они бы и не могли проявлять беспристрастия вопреки большевицкой воле, потому что их в этом случае просто сместили бы. Разгадка их беспристрастия лежала глубже.

Большевики действовали демагогически. Поэтому третейским судам старались они придать в глазах рабочих видимость «хороших», «пролетарских» судов, то есть направленных против предпринимателей. Для того-то и состояли они при комиссариате, ведающем охраной труда, для того-то и супер-арбитр назначался большевиками, чтобы рабочие были уверены, будто это их собственный «классовый» суд, которому они могут приказывать и грозить. После всего, что они слыхали на митингах, рабочие имели основания ожидать и требовать такого суда.

Однако, ставши хозяевами в стране, большевики были теперь заинтересованы в сохранении хотя бы того, что еще можно сохранить. Комиссариат труда рекомендовал при решении дел исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны.

Рекомендовалось по возможности решать дела в пользу предпринимателей. Само собой, эта инструкция хранилась в глубокой тайне.

Месяца через полтора после начала моей службы я вызван был к В. П. Ногину, который стоял во главе комиссариата труда. Это был рыжий, вихрастый человек в очках, средних лет, вполне порядочный — типичный представитель низовой интеллигенции. Он предложил мне покинуть третейские суды и заняться не более и не менее, как кодификацией декретов и постановлений, изданных по комиссариату труда, за всё время, с начала советской власти. Другими словами — составить кодекс законов о труде для первой в мире республики трудящихся. Чувствовалось, что эта идея пришла ему в голову внезапно.

Мне было очень трудно не засмеяться. Выходило, что, хотя всего лишь на время «переходного периода», но всё-таки мировой пролетариат победил для того, чтобы я мог, наконец, дать ему законы. «За что боролись?» — подумал я.

Еще забавнее было то, что когда я указывал Ногину на ничтожность моих юридических познаний, он не хотел и слушать:

— Справитесь, — повторял он, — ей Богу справитесь. Нам это не к спеху.

Однако, я наотрез отказался стать новым Ликургом или Солоном. Мы с Ногиным помирились на том, что я составлю сводку изданных постановлений, словом, займусь подготовительной работой для будущей кодификации.

Провозившись над ворохом бумаг, постановлений, декретов и распоряжений несколько дней, и поняв из разговоров с Ногиным, что ни разъяснений, ни указаний, ни недостающих материалов мне ждать неоткуда,

я подал в отставку. Она не была принята. Тогда я просто перестал ходить в комиссариат. Решение «созрело» однажды утром. Я встал, выпил чаю — и понял вдруг, что идти в комиссариат не могу. До такой степени не могу, что нет сил зайти туда хотя бы за портфелем, который остался в ящике моего стола. Отличный был портфель, светло-коричневой кожи, с великолепными застежками. Но я за ним не пошел, завидуя Фоке, который всё же унес от Демьяна кушак и шапку.

1936 г.

ПРОЛЕТКУЛЬТ

Осенью 1918 года мне предложили читать лекции в литературной студии московского Пролеткульта. В конце сентября состоялось собрание, на котором лекторы впервые встретились со своими слушателями. Студийцев собралось человек шестьдесят. Было в их числе несколько пролетарских писателей, впоследствии выдвинувшихся: Александровский, Герасимов, Казин, Плетнев, Полетаев. Собрание, как водится, вышло довольно сумбурное. Удалось однако установить, что систематические «курсы» были бы для слушателей на первых порах обременительны. Решено было, что каждый лектор прочтет курс эпизодических лекций, объединенных общею темой. Я выбрал темою Пушкина. Мне предложили читать по два часа раз в неделю. Назначены были дни и часы чтений.

Занятия вскоре начались. Тотчас же пришлось натолкнуться на трудности. Из них главная заключалась в том, что аудитория в смысле подготовленности была очень пестра. Некоторые студийцы, в особенности женщины, оказались лишены самых первоначальных литературных познаний. Другие, напротив, удивили меня запасом сведений, а иногда и умением разбираться в вопросах, порою довольно сложных и тонких. На совершенно неподготовленных пришлось сразу махнуть рукой: было ясно, что вскоре они отпадут, потому что им место не в литературной студии, а в начальной школе. Но и с той частью, которой, видимо, суждено было удержаться, надо было приноравлять лекции так, чтобы они были не

слишком элементарны для одних и не слишком затруднительны для других.

Начиная с первой же лекции, мои слушатели стали в антрактах обращаться за разъяснениями: одним хотелось точнее уяснить непонятное, другие, напротив, просили несколько углубить и расширить то, о чем в лекции говорил я слишком для них элементарно. Эти кулуарные разговоры позволили ближе ознакомиться со студийцами. На основании этого знакомства я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность. Она очень мало склонна к безобразному накоплению сведений. Напротив, во всем она хочет добраться до «сути», к каждому слову, своему и чужому, относится с большой вдумчивостью. Свои сомнения и несогласия, порой наивные, она выражает напрямик и умеет требовать объяснений точных, исчерпывающих. Общими местами от нее не отделаешься.

Занятия шли успешно, но это именно и не нравилось верховным руководителям Пролеткульта. С их точки зрения, мои слушатели, из которых должны были составляться кадры пролетарской литературы, должны были перенять у Пушкина «мастерство», литературную «технику», но ни в коем случае не поддаваться обаянию его творчества и его личности. Следовательно, мои чтения представлялись им замаскированной контрреволюцией, тогда как в действительности одурачиванием рабочей аудитории, то есть настоящей контрреволюцией, занимался именно совет Пролеткульта. К этому прибавились мотивы личного характера: в то время, как лекции «буржуазных специалистов» собирали по 30-40 слушателей (некоторые лекции Андрея Белого до 60-ти), слушать коммунистических «руководителей» приходило человек по пятнадцати. Чувствуя, что студийцы всё более поддаются влиянию «спецов», главари

Пролеткульта решили с этим бороться. Удалить нас вовсе — значило бы признать свое бессилие, раскрыть карты и восстановить слушателей против совета Пролеткульта. Поэтому нам начали просто мешать. Для начала придумали такой трюк: мне было объявлено, что лекционная система оставляет студийцев слишком пассивными: надо привлечь их к активной работе по Пушкину, то есть перейти на семинарий. Сколько я ни возражал, что семинарий требует регулярной посещаемости, в тогдашних условиях недостижимой, — мне был один ответ: совет Пролеткульта постановил. Делать нечего, я перешел на систему семинария. Мне пришлось сразу указать слушателям на то, что новая система требует от них постоянного присутствия и некоторой домашней работы, без которой семинарий немыслим. Мне ответили — постараемся, но голоса были неуверенные.

Случилось то, чего надо было ожидать. Уже на второе собрание семинария не явилась часть бывших на первом, зато явились новички, которым пришлось объяснять всё сызнова. Студийцы смущались, конфузились передо мной и друг перед другом — «активное участие» приходилось из них вытягивать чуть не клещами, добывая его в микроскопических дозах. В конце концов всё сводилось к тому, что я один, надсаживаясь, «играл» и за руководителя, и за весь семинарий.

Когда всё-таки студийцы начали кое-как втягиваться в работу, последовал новый приказ: отменить семинарий и читать систематический курс: «Жизнь и творчество Пушкина».

По существу это было даже лучше семинария. Но я видел, что новая перемена вызвана не заботой о пользе дела, а желанием снова ему помешать. Как раз в это время произошел случай, несколько испортивший мои отношения со студийцами. При Пролеткульте реше-

но было издавать журнал «Горн», под редакцией самих студийцев. Меня попросили написать статью о книжке стихов Герасимова. Он был не совсем новичок в литературе: в 1915 году я довольно сочувственно отзывался о нем в «Русских Ведомостях». Я согласился и написал о Герасимове то, что думал, т. е. что человек он даровитый, но пока еще целиком зависит от своих учителей-символистов, преимущественно от Блока и Брюсова. Велико было мое удивление, когда я получил первый номер «Горна» и увидел, что из статьи выброшены все мои упреки Герасимову, а похвалы оставлены, так что статья стала гораздо более хвалебной, нежели была в рукописи. На мои протесты было отвечено, что о лите-тературных достижениях пролетариата надо писать «отчетливей», т. е. кричать о хорошем и замалчивать слабое, и что даже в таком виде, как статья напечатана, она всё-таки Герасимову (одному из редакторов «Горна») не нравится. «Вы его мало похвалили». Действительно, я заметил, что Герасимов перестал посещать мои лекции. Всё это мне не нравилось: в те времена кумовство, даже и в «гнилой» буржуазной критике, не поощрялось — ему только еще предстояло расцвести в эмиграции.

В одно из воскресений зашел я в качестве гостя на исполнительное собрание, где студийцы читали стихи и между собой обсуждали прочитанное. Читались стихи посредственные, а то и вовсе плохие. Но — с какой юмористической почтительностью говорили чтецы и слушатели друг о друге! Сколько хитрецы было в похвалах, расточаемых для того, чтобы самому получить такую же похвалу в ответ! В довершение всего некий Семен Родов имел наглость при мне прочитать свою большевицкую поэму, которую перелицевал из антибольшевицкой, читанной мне больше года тому назад, когда автор был еще просто студентом и не носил пролетарской кожаной куртки.

Я ушел с тяжелым чувством. Я видел, как в несколько месяцев лестью и пагубной теорией «пролетарского искусства» испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности, очень хорошую. В таком настроении предстояло мне приступить к чтению курса. Дело шло к весне, и я предложил отложить его до осени. Куда! Мне с важностью заявили, что «у пролетариев нет каникул». Я начал читать. Лекции попрежнему стали собирать человек по сорок слушателей, т. е. больше, чем семинарий, на который не приходило больше пятнадцати. То же самое происходило у других «буржуазных» лекторов, хотя им, как и мне, всячески мешало начальство. К руководителям Пролеткульта попрежнему ходило мало народа. Было ясно, что «контрреволюции» вскоре будет нанесен решительный удар. И в самом деле, прийдя на четвертую лекцию, на которой я должен был говорить о петербургской жизни Пушкина по выходе из Лицея, я вдруг узнал, что все лекции отменены, а студийцы отправлены на фронт. В опустелых залах я встретил кое-кого из них. Эту отправку они ощущали как почетную ссылку, были злы на совет Пролеткульта, но недовольны и лекторами, навлекшими на них такую напасть.

С осени я в Пролеткульт не вернулся, да и ученики мои, вернувшись с войны, вышли из Пролеткульта, чем недвусмысленно выказали свое отношение к его начальству. Литературная студия навсегда прекратила существование, а ее основное ядро сорганизовалось в группу пролетарских поэтов, получившую название «Кузница». Она просуществовала несколько лет. Ничего выдающегося она не сделала, именно потому, что ее участникам не дали возможность пополнить свое литературное образование. Постепенно сошли на нет и исчезли со страниц советской печати ее участники, как даровитые, вроде Казина и Герасимова, так и не обладавшие талантом, вроде Александровского. Не только

не состоялась пролетарская литература, но и были загублены люди, несомненно достойные лучшей участи. Бессовестно захваленные, но не вооруженные знанием дела, они не выдержали конкуренции попутчиков.

На этом кончилась моя первая попытка ознакомления «широких масс» с Пушкиным. Вторая относится к более позднему времени — к весне 1921 г. Я жил в Петербурге. Подголадывал. Однажды вечером — стук в дверь. На пороге какая-то женщина — пришла приглашать меня читать лекции о Пушкине в клуб имени Подбельского. По началу я отказался, наученный московским опытом, но женщина привела доводы неопровержимые: столько-то фунтов черного хлеба и фунт повидла в неделю. Оказалось к тому же, что и клуб находится недалеко — поблизости от Мариинского театра (я жил на углу Мойки и Невского). Кончилось тем, что я согласился. Моими слушателями оказались служащие почтового ведомства, в огромном большинстве — женщины. Три раза я им рассказывал о Пушкине. Слушали хорошо, вникали, после лекции забрасывали вопросами, в большинстве случаев — очень дельными. Я уже начал даже испытывать некоторое удовольствие от этих занятий. Как вдруг, в один прекрасный день, получаю вызов к клубному комиссару, которого никогда не видел и о самом существовании которого до тех пор не подозревал. Являюсь. Обыкновенный комиссар, как все: гимнастерка, растрепанная бородка, пенснэ, револьвер. Он мне сказал:

— На будущей неделе мы празднуем двухлетний юбилей курсов. Пускай кто-нибудь из ваших слушательниц прочтет доклад о Пушкине.

Я почтительно доложил, что никто из слушательниц этого сделать не может, ибо познания их еще слишком ограничены.

— А между тем надо, — сказал комиссар. — Будет начальство, пресса.

— К сожалению, немыслимо.

— Тогда вы сочините, а она пускай прочитает. Понимаете? Вечер должен быть показательный.

Я очень спокойно объяснил ему, что есть большая разница между «показательным», когда показывают то, что есть, и «показным», когда показывают то, чего нет. Мое объяснение ему не понравилось. Он рассердился и объявил, что больше я у них не служу.

Больше о Пушкине я не читал, но пригласили меня еще раз — при обстоятельствах столь неправдоподобных, что, вероятно, читатели мне не поверят. Мне было кем-то предложено читать популярно-научные и литературные лекции (в частности — о Пушкине) в кружке для самообразования, который начальство предписало устроить при... Российской Академии Наук. Я сперва думал, что речь идет о сторожах и уборщицах, но мне пояснили, что посещение кружка будет обязательно для всех без исключения работников Академии. Перспектива объяснять Хвольсону, отчего бывает гром и молния, Павлову рассказывать о системе кровообращения, а Модзалевскому сообщать, что Пушкин родился в 1799 г., меня ужаснула. Я отказался.

1937 г.

КНИЖНАЯ ПАЛАТА

Уже при Временном Правительстве московский цензурный комитет претерпел глубокие изменения. После октябрьского переворота он был превращен в «подотдел учета и регистрации» при отделе печати московского совета. Из прежних функций за ним сохранились две: регистрация выходящих изданий, во-первых, и распределение так называемых «обязательных экземпляров» по государственным книгохранилищам, во-вторых. К этим двум функциям, полезным и даже необходимым, была прибавлена третья. Национализировав типографии и взяв на учет бумажные запасы, советское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требовалось получить особый «наряд» на типографию и бумагу. Без наряда ни одна типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумагу. Выдача этих нарядов была сосредоточена в руках новоиспеченного учреждения. Во главе его с лета 1918 года стал Валерий Брюсов.

Ввести прямую цензуру большевики еще не решались — они ввели ее только в конце 1921 года. Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тотчас получили возможность прекратить выдачу нарядов неугодным изданиям, чтобы таким образом мотивировать их закрытие не цензурными, а экономическими причинами. Все антибольшевицкие газеты, а затем и журналы, а затем и просто частные издательства были

постепенно уничтожены. Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов но, разумеется, директивы получались им свыше. Не будучи советским цензором «де юре», он им всё-таки очутился на деле. Ходили слухи, что его служебное рвение порой простиралось до того, что он позволял себе давать начальству советы и указания, кого и что следует пощадить, а что прекратить. Должен, однако, заметить, что я не знаю, насколько такие слухи были справедливы и на чем основывались. Несколько забегая вперед, скажу, что впоследствии, просматривая делопроизводство подотдела, никаких *письменных* следов такой деятельности Брюсова я не нашел.

Еще в 1918 году подотдел учета и регистрации был переведен из прежнего помещения цензурного комитета в дом гостиницы «Петергоф», на углу Моховой и Воздвиженки. Однако, в октябре или ноябре 1919 года, весь этот дом был полностью предоставлен центральному комитету коммунистической партии. Подотделу приказали немедленно выселиться — и он не без труда нашел себе пристанище на Девичьем Поле, где ему отвели две комнаты в доме Архива Министерства Юстиции. Брюсов, живший на 1-ой Мещанской, очутился в необходимости ездить на службу через весь город. Ни автомобиля, ни лошади ему не полагалось по штату, а трамваи почти не действовали. Брюсов к тому же был болен и иногда по целым неделям лежал в постели: у него был фурункулез — повидимому, на почве интоксикации (уже двенадцать лет он был морфинистом). В конце года он подал в отставку. Мне предложили занять его место.

В ту пору советские учреждения еще переживали эпоху, которую можно назвать эпохой перманентного становления. Круг деятельности каждого из них непрестанно менялся, так же, как его права и обязанности. Происходило это главным образом вследствие неути-

хавшей борьбы местных советов с органами центрального правительства. Неудивительно, что и цензурные функции рано или поздно были отняты у московского совета и переданы куда-то выше, — куда именно, я уже не помню. Произошло это, вероятно, в середине 1919 года. Таким образом, когда мне предложили занять место Брюсова, одиозная часть его прежних обязанностей отпала. Самый подотдел учета и регистрации к этому времени стал называться Московской Книжной Палатой. Всё дело ее заключалось в том, чтобы вести библиографическую регистрацию выпускаемых типографиями печатных произведений и получать с типографий так называемые «обязательные экземпляры». Число таких экземпляров к этому времени было доведено до двадцати пяти. Двадцать два из них Книжная Палата должна была рассылать по книгохранилищам, имеющим государственное значение: прежде всего в Публичную Библиотеку, в Румянцевский и Исторический музеи, в библиотеку Академии Наук, в университетские библиотеки и т. д.

Штат Книжной Палаты был невелик: кроме меня, состоял он из секретаря, регистратора, машинистки и курьера Янчука — человека ворчливого и кудластого, уже пожилого, весьма недовольного новыми порядками: он служил еще в цензурном комитете и достался Книжной Палате, так сказать, по наследству, вместе с мебелью и многочисленными фотографиями старых цензоров. Фотографии эти, в деревянных рамочках, он развесил в моем кабинете и тщательно стирал с них пыль тряпкой. На меня он сперва косился — потом мы подружились.

Работы, в сущности, было немного, но она осложнялась мучительно: не было письменных принадлежностей, лент для машинки, не было даже оберточной бумаги и веревки для перевязки книг, рассылаемых по библиотекам. Всё это приходилось добывать с великим

трудом. Посылки нужно было доставлять в главный почтамт, на Мясницкую — Янчук раздобыл салазки и раза два в неделю впрягался в них. В помещении Палаты было градуса три тепла, не больше. Руки у регистратора опухали и трескались от холода: книги на холоде не лучше железа. Работали все в перчатках.

Эти трудности, порядка технического, были, однако же, не главной бедой. Еще труднее обстояло дело с типографиями. По декрету, грозившему самыми строгими карами, книги должны были доставляться в Палату из типографий немедленно по выходе. На деле они запаздывали. Случалось, что книга давно уже появлялась в продаже, а в Палату она всё еще не поступала. В один прекрасный день (это было, помнится, в самом конце 1919 года) я нашел у себя на столе обрывок бумаги, на котором карандашом было нацарапано: «Больше газет доставлять не буду — больно вы далеко забрались». Это послание исходило от рассыльного бывшей сытинской типографии, на Тверской, где печатались «Известия» и «Правда». И действительно, с этого дня доставка газет прекратилась. Ни «Известия», ни «Правда» не доставлялись в Палату около трех месяцев. В конце марта или в начале апреля я раздобыл автомобиль и отправился сам на склад, за комплектами недоставленных номеров. Однако, мне удалось добыть всего два или три комплекта, и то потрепанных и подмоченных: Я «присудил» один из них Публичной Библиотеке, другой — Румянцевскому музею, третий — если только он был — Историческому музею. Только в этих хранилищах и можно по сию пору получить комплекты «Известий» и «Правды», за первые три месяца 1920 года. Больше их нигде нет — и не будет.

Немалое количество страданий мне причинили также и «безнарядные» книги. Дело в том, что, при известных связях и за известную мзду, можно было иног-

да добывать бумагу без всякого наряда, и без наряда же печатать книги в типографиях. Такие книги появлялись на рынке, я порою отлично знал, кто их издатель; порою авторы мне их дарили с дружескою надписью. На этих книгах имелись самые фантастические обозначения места издания: Амстердам, Антверпен, Филадельфия и т. д. Типография, разумеется, не была обозначена никогда. В Палату такие книги, естественно, не доставлялись и, таким образом, в государственных книгохранилищах образовался пробел. Издание, которое можно было купить в любой книжной лавке, не попадало в Румянцевский музей.

Зато немалым мне развлечением служило рассматривание книг, проходивших через Палату. Книг и журналов, отпечатанных довольно фантастическим образом, довелось мне видеть не мало. Они поступали, главным образом, из провинции, но иногда выпускались в самой Москве. Тут были книги, отпечатанные на обоях, на оберточной бумаге и даже на оборотной стороне каких-то казенных бланков и ведомостей, — немножко напоминавшие письмо городничего к Анне Андреевне.

Наконец довелось мне быть наблюдателем презанятных библиографических историй.

С какой из них начать — я не знаю: хронологическая их последовательность улетучилась из моей памяти, а если бы и сохранилась — всё равно была бы несущественна. Поэтому начну наугад, с истории, в которой, собственно говоря, никакой «истории» даже не было, а просто была безалаберщина, бестолковщина, характерная, впрочем, для той эпохи. Дело же всё заключалось в том, что Госиздат вздумал выпустить календарь-альманах на 1920 год — нечто вроде блаженной памяти гатцуковского «Царя-Колокола», но, разумеется, на советский лад. Началось с того, что календарь, как водится, запоздал: вышел не то в марте, не то в апреле. Отличительной и «революционной» его чер-

той было то, что названия христианских праздников были из него выброшены, вместе со святцами. Вместо праздников было означено просто: «День отдыха», а вместо святцев указывалось, какое революционное событие и в каком году происходило в данный день. Всё это было вполне естественно, и составители могли рассчитывать на благоволение начальства. Но, на беду свою, забыли они проставить только одно — дни недели. Календарь появился без понедельников, вторников и т. д. Конечно, с точки зрения вечности, это было даже хорошо, — он годился на любой год. Но в то же время он не годился ни на какой, и его спешно отправили на бумажную фабрику — шинковать. А издан он был в количестве нескольких десятков тысяч экземпляров — и это во времена бумажного голода.

В другой истории проштрафилась — и серьезно — сама ВЧК. Жил был в Москве некто Павел Никитич Макинциан. Знал я его потому, что несколько лет до того, еще во время войны, был он организатором известного сборника «Поэзия Армении», вышедшего под редакцией Брюсова. В этом сборнике я участвовал в качестве одного из переводчиков. Тот же Макинциан давал уроки армянского языка Брюсову и его жене. Им же была устроена поездка Брюсова по Кавказу. В сотрудничестве с Брюсовым он же редактировал и «Армянский сборник» издательства «Парус» — в этом сборнике тоже были мои переводы. Затем, уже при большевиках, нередко заходил он ко мне во «Всемирную Литературу» по каким-то делам. То было время гражданской войны. Я разговаривал с Макинцианом на темы самые рискованные вполне откровенно, как со старым знакомым. Однажды пришел он ко мне, когда я уже заведовал Книжной Палатой, и сказал, что ему нужна книга, которой уже нет в продаже, но которая ему необходима для работы — не на время, а на вечную собственность, так как ему придется ее изрезать.

Он слышал, что в Книжной Палате имеются запасные экземпляры всех поступающих книг, и хотел бы получить один такой экземпляр. Я ответил, что без письменного разрешения Отдела Печати выдать книгу ему не могу. Через несколько дней он принес мне такое разрешение, в котором было сказано, что книга может быть выдана *сотруднику* ВКЧ Макинциану для очередной работы. Я вспомнил свои с ним разговоры и мне стало не по себе. Через некоторое время появилась известная «Красная Книга ВЧК», на обложке которой было указано, что она составлена Макинцианом. В ней было, должно быть, страниц триста, а то и больше. В ней рассказывалась история нескольких организаций и заговоров, раскрытых ВЧК. Нельзя отрицать, что работа велась сотрудниками ВЧК с замечательной ловкостью. Этим-то ВЧК хотела похвастаться в своем издании, но не сообразила того, что слишком откровенно разоблачает свои приемы. Кончилось тем, что книга была экстренно изъята из продажи, а затем вновь появилась, но уже сокращенная, по крайней мере на две трети. Кажется, из нее выбросили всё, кроме истории взрыва в Леонтьевском переулке. После этого звезда Макинциана закатилась, а полное издание «Красной Книги» стало библиографической редкостью.

Третья история произошла с моим покойным учителем и другом М. О. Гершензоном. Однажды он мне сказал: «Я нашел настоящую *скрижаль Пушкина* — его философию искусства, его credo». Будучи несколько скрытен в том, что касалось его текущей работы, он на расспросы мои ответил только, что это — всего лишь одна страница, которая давно напечатана, но на нее не умели обратить должного внимания и даже не включили ни в одно собрание сочинений Пушкина. Прошло сколько-то времени. Однажды утром (кажется это было в начале 1920 года) Гершензон занес мне в подарок только что вышедшую свою книгу «Мудрость Пуш-

кина». На первом месте, почти без комментариев, напечатана была «Скрижаль Пушкина» — тот самый отрывок, о котором он мне говорил. В тот же день я был занят, книгу не раскрывал, а вечером пошел в гости к Георгию Чулкову, которого застал в радостном возбуждении.

— Ну что, «Скрижаль Пушкина» видели?

— Нет еще, — сказал я.

— В таком случае — полюбуйтесь.

Чулков протянул мне книгу. Пока я читал, он смотрел на меня испытующе, а затем спросил:

— Что, похоже на Пушкина?

Я был в замешательстве. То, что я прочитал, по существу *могло* выражать эстетику Пушкина, во всяком случае, не противоречило ей.

Но самое изложение до чрезвычайности мало было похоже на пушкинское. Я сказал Чулкову, что по-моему это — не Пушкин.

— Ну, ваше счастье, — сказал Чулков, — а то сели бы вы в калошу вместе с вашим Гершензоном. Сейчас я видел Сакулина. Он в ужасе. Заметка-то ведь не Пушкина, а Жуковского — Пушкин только зачем-то списал ее для себя. Гершензон нашел ее в шляпкинском описании бумаг Пушкина и вообразил, что это — сам Пушкин.

«Ужас» Сакулина был напускной и радостный, так же, как ужас Чулкова. Оба они терпеть не могли Гершензона и теперь злорадствовали вместе со многими другими. Сакулин, впрочем, поступил честно: если не ошибаюсь, он сам отправился к Гершензону и всё ему разъяснил. Гершензон был почти в отчаянии от своей ошибки. Тотчас же он бросился на склад «Книгоиздательства Писателей», велел остановить рассылку книги по магазинам и заставил мальчика, служащего на складе, вырезать из всех экземпляров тот листок, который

был занят «Скрижалью Пушкина», то есть страницы пятую и шестую. В таком виде книга и поступила в продажу — без первой статьи, означенной однако же, в оглавлении. Затем прибежал он ко мне с просьбою, чтобы прежде рассылки книги по библиотекам я приказал вырезать из нее тот же злосчастный листок. В сущности, я не имел на то права, но, видя отчаяние Гершензона, пообещал ему это сделать. К несчастью, прийдя в Палату, я узнал, что книга уже разослана. Таким образом, по музеям и библиотекам она пошла в полном виде.

Эти библиотечные экземпляры с сохраненным листком должны были бы стать библиографической редкостью, потому что вслед затем Гершензон обратился ко всем знакомым, которым успел послать книгу, с просьбой вырезать и вернуть ему этот листок. На деле из этого всё-таки ничего не вышло: Гершензон получил листки, но некто Ш., по роду занятий философ, по характеру весельчак и бурш, умудрился купить у мальчишки из книгоиздательства изрядное количество вырезанных листков и раздавал их направо и налево всем желающим. В результате образовалось очень большое количество экземпляров «Мудрости Пушкина» с вырезанным и обратно вклеенным листком.

В заключение расскажу еще об одной книжной драме, разыгравшейся на сей раз в Кремле. Бухарин только что выпустил свою «Экономику переходного периода». Его отношения с Лениным были в ту пору натянуты, и в самой книге имелись какие-то более или менее замаскированные выпады против Ленина. Несмотря на это (или, быть может, именно поэтому), Бухарин решил проявить по отношению к вождю величайший наружный пиетет. Вслед за титульным листом в книгу вклеены были еще два листка: на первом из них, на меловой бумаге, отпечатан был портрет Ленина

(впоследствии довольно известный — за письменным столом, лицом к зрителю); второй представлял собой кусок мягкого, розоватого картона с искусственно оборванными краями — вроде тех, что употребляются для свадебных приглашений; на этом картоне крупнейшим, замысловатым шрифтом (тоже вроде употребляющихся в матримониальных случаях) отпечатано было посвящение Ленину; Ленин очень хорошо понял бухаринскую хитрость и приказал немедленно вырезать из книги и портрет свой, и посвящение. Так и было сделано. Однако же, некто Щелкунов, библиофил, небезызвестный своим собранием эротических книг и рисунков, сделал примерно то самое, что с книгою Гершензона сделал философ Ш. Он задешево приобрел в Госиздате штук пятьдесят бухаринской книги с портретом и посвящением, а затем постепенно распродавал эти экземпляры из-под полы в качестве библиографической редкости по высокой цене. На этом деле он, говорят, хорошо заработал, в отличие от Ш., который действовал бескорыстно, единственно ради злой шалости.

10 и 17 ноября 1932 г.

БЕЛЫЙ КОРИДОР

I

К концу 1918 года, в числе многих московских писателей (Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вяч. Иванова, Пастернака и др.) я очутился сотрудником Тео, т. е. театрального отдела Наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведывала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Быть может, в юности она игрывала в любительских спектаклях. Заведывать Тео она вздумала от нечего делать и ради престижа.

Писатели в Тео были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажемента, бывшие театральные репортеры, студенты, художники. Они неизвестно откуда являлись и неизвестно куда пропадали, высказав свое мнение. В Тео преимущественно заседали, но, вероятно, не было и двух заседаний с одинаковым составом участников. Поэтому ни один вопрос не ставился точно и ни одно дело не доводилось до конца. Впрочем, никто и не знал, что надо делать. Говорили преимущественно «к порядку дня» и перманентно «организовывались», неизвестно, с какою целью. Однако, заседали секционно, коллегиально и пленарно, писали проекты, составляли схемы, инструкции и мандаты, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж,

из комнаты в комнату огромного здания на Неглинной улице. Всё пересаживались, как крыловский квартет.

Были разные секции. Вячеслав Иванов, например, заведывал историко-театральной, а Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником) стоял во главе репертуарной, в которой сидел и я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар: Мольера, Шекспира, Гоголя, Островского. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то «делегаты с мест», и, к стыду Каменевой, заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей: «Теща в дом — всё вверх дном», «Денщик подвел» и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес, которые мы должны были отбирать для печатания — в остановившихся типографиях, на несуществующей бумаге. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках, матросских фуфайках, в смазных сапогах, в штиблетах, в калошах на босу ногу и совсем босиком шли к нам драматурги толпами. Просили, требовали, грозили, ссылались на пролетарское происхождение и на участие в забастовках 1905 года. Бывали рукописи с рекомендацией Ленина, Луначарского и... Вербицкой. В одной трагедии было двадцать восемь действий. Ни одна никуда не годилась.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и ее секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Однажды в Тео, на лестнице, я встретил Андрея Белого. Перед тем мы не виделись месяца два. На нем лица не было. Кажется, мы даже ничего не сказали друг другу — только посмотрели в глаза. Через несколько дней, возвратясь домой с рынка, где пытался купить муки, я застал его у себя. Он писал мне записку: — один молодой поэт выхлопотал нам аудиенцию у Луначарского, который готов выслушать писателей: аудиенция завтра в восемь часов вечера, встреча у Троицких ворот Кремля.

***

Усталые, голодные, назаседавшиеся на заседаниях и настоявшиеся в очередях, мы встретились в темноте у манежа. Пришли: Гершензон, Балтрушайтис, Андрей Белый, Пастернак, Георгий Чулков, еще кто-то. Никто не опоздал. Двинулись по мосту, к воротам. У кого-то в руках — пропуск на столько-то человек. Часовой каждого трогает за плечо и считает вслух: «Один, другой, третий»... — гуськом пропускает нас в темную щель ворот. В Кремле тишина, снег, ночь.

Сейчас же за Троицкими воротами, к арке, соединяющей Большой дворец с Оружейной палатой, идет узкая улица. Заходим налево, в комендатуру. Опять проверка — и новые пропуска: в *Белый коридор*. Минуем Потешный дворец и входим в большую дверь, почти под Оружейной палатой. За дверью темно, только где-то в глубине здания, в полуподвале, виднеется смутно освещенный гараж. Подымаемся по темной лестнице. На поворотах стоят часовые. Наконец, — площадка, тяжелая дверь, а за ней ярко освещенный коридор.

Не знаю, большевики ли дали ему это имя или он так звался раньше, — но коридор, действительно, белый: типичный коридор старого казенного здания — прямой, чистый, сводчатый. Гладкие белые стены, белые двери справа и слева, как в гостинице. Широкая красная дорожка стелется до конца, где коридор упирается в зеркало.

В ту пору Белый коридор был населен сановниками. Там жили Каменевы, Луначарские, Демьян Бедный. Каждый апартамент состоял из трех-четырех комнат. Коридор жил довольно замкнутой жизнью, не лишенной уюта и своеобразия. Сюда не допускался простой народ и здесь можно было не притворяться. На этой почве случались маленькие конфузы. На утро после взрыва в Леонтьевском переулке, когда весь Кремль был охвачен паникой, когда (по тогдашнему выражению Каменева) все думали, что «уже началось», Ольге Давыдовне было необходимо куда-то ехать. Она шла по коридору. Теща Демьяна Бедного, простая женщина, увидала ее, подбежала, и наспех перекрестила.

Мы вошли к Луначарскому. Просторная комната; типично-дворцовая мебель восьмидесятых годов, черная, лакированная, обитая пунцовым атласом. Вероятно, до революции, здесь жили дворцовые служащие.

Поздоровавшись, сели мы как-то нескладно, чуть ли не в ряд. Луначарский сел против нас, посреди комнаты. Позади его помещался писатель Иван Рукавишников, козлобородый, рыжий, в зеленом френче. Когда мы вошли, он уже сидел в большом кресле, с которого не поднялся ни при нашем появлении, ни потом. Он только слегка кивнул головой, что-то промычав. Его присутствие, так же, как неподвижность, слегка удивили нас. Но позже всё объяснилось.

Луначарский откинулся назад, сверкнул пенснэ, внимательно осмотрел нас (мне показалось — пересчитал), молча пожевал губами, а потом сказал речь. Он говорил очень гладко, округленно, довольно большими периодами, чрезвычайно приятным голосом. По его писаниям я знал, что он не умен, самовлюблен и склонен к вычурам. Против ожидания, он говорил совсем просто. Любование собой сказалось только в чрезвычайной пространности его речи, а ее плавности мешало непрестанное подрыгивание ногой.

Подробностей того, что сказал Луначарский, я, конечно, не помню. В общем, это была вполне характерная речь либерального министра из очень нелиберального правительства, с приличной долей даже легкого как бы фрондирования. Всё, однако, сводилось к тому, что, конечно, стоны писателей дошли до его чуткого слуха; это весьма прискорбно, но, к сожалению, никакой «весны» он, Луначарский, нам возвестить не может, потому что дело идет не к «весне», а совсем напротив. Одним словом, рабоче-крестьянская власть (это выражение заметно ласкало слух оратора, и он его произнес многократно, с победоносным каждый раз взором) — рабоче-крестьянская власть разрешает литературу, но только подходящую. Если хотим, мы можем писать, и рабочая власть желает нам всяческого успеха, но просит помнить, что лес рубят — щепки летят.

Всё это, повторяю, было высказано очень складно и длинно, но не оставляло сомнений в том, что летящие щепки (это выражение мне запомнилось в точности) — это и есть писатели. Видя, должно быть, наши вытянутые физиономии, Луначарский захотел нас утешить. В заключение он прибавил, что ему известно, как тяжело нам служить в учреждениях, и что, разумеется, дело писателей — писать, а не заседать, но это можно

облегчить, если устроить еще одно учреждение, а именно литературный отдел Наркомпроса, в параллель к театральному. Он даже пообещал, что вскоре начнется обширнейшая серия заседаний на тему об организации такого отдела, и мы будем привлечены к участию в этих заседаниях.

После этих слов стало уже окончательно ясно, что с ним говорить не о чем и не к чему. Однако, мы все ощущали такой стыд за него, что не имели сил просто встать и откланяться. Мы переглянулись между собою, и наконец, кто-то ему ответил несколько слов, ничего не значущих. Казалось, аудиенция кончена. Но тут Иван Рукавишников зашевелился, сделал попытку встать с кресла, затем рухнул в него обратно и коснеющим языком произнес:

— Пр-рошу.... ссллова...

Пришлось остаться и битых полчаса слушать вдребезги пьяную ахинею. Отдуваясь и сопя, порой подолгу молча жуя губами, Рукавишников «п-п-п-а-аазволил п-п-предложить нашему вниманию» свой план того, как вообще жить и работать писателям. Оказалось, что надо построить огромный дворец на берегу моря или хотя бы Москва-реки... м-м-дааа... дворец из стекла и мррра-мора... и ал-л-люми-иния... м-м-мда-а... и чтобы все комнаты и красивые одежды... эдакие хитоны, — и как его? Это самое.... — коммунальное питание. И чтобы тут же были художники. Художники пишут картины, а музыканты играют на инструментах, а кроме того замечательнейшая тут же библиотека, вроде Публичной, и хорошее купание. И когда рабоче-крестьянскому пр-р-равительству нужна трагедия или — как ее там? — опера, то сейчас это всё кол-л-лективно сочиняют з-з-звучные слова и рисуют декорацию, и все вместе делают пластические позы и музыку на инструментах. Таким образом ар-р-ртель и красивая жизнь, и пускай

все будут очень сча-а-астливы. Величина театрального зала должна равняться тысяча пятистам сорока восьми с половиной квадратным саженям, а каждая комната — восемь сажен в длину и столько же в ширину. И в каждой комнате обязательно умывальник с эмалированным тазом.

Луначарскому, видимо, было неловко, он смущенно на нас поглядел, но у нас лица были каменные. Когда Рукавишников затих, мы встали и ушли, молча пожав руку Луначарскому. С Рукавишниковым не прощались. У подъезда стояли сани с медвежьей полостью. Кто-то спросил туго-набитого кучера:

— Это за кем лошадь?

— За товарищем Рукавишниковым.

Тот же часовой, те же Троицкие ворота, за ними — тьма. Прочитав пропуск, часовой гуськом выпускает нас в узкую щель и считает вслух: «Один, другой, третий»... Каждого трогает за плечо. Так слепой циклоп Полифем, боясь упустить Одиссея со спутниками, считал и щупал своих баранов у выхода из пещеры.

Проходим по мосту. Молча идем дальше. Почти всем по пути: на Арбат, на Смоленский бульвар, в Хамовники...

***

Рукавишников, плодовитый, но бесвкусный писатель, был родом из нижегородских миллионеров. Промотался и пропился он, кажется, еще до революции. Он был женат на бывшей цирковой артистке, очень хорошенькой, чем и объясняется его положение в Кремле. Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию — цирковую, которую и возглавил госпожей Рукавиш-

никовой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда, рядом с автомобилем Каменевой, появился парный выезд Рукавишниковой: вороные кони под синей сеткой — из придворных конюшен. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более и не менее, как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже.

Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Моховой, взрывая снежные кучи, под свист мальчишек, выбрасывая из ноздрей струи белого пара, широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи жались к сторонке и шептали:

— С нами крестная сила!

II

Однажды мы в Театральном отделе прозаседали часов до пяти. Я сидел далеко от Каменевой. Вдруг получаю от нее записку. Пишет, что заседание затянулось, а между тем у Балтрушайтиса есть две ирландские пьесы, которые необходимо экстренно прочесть и обсудить в репертуарной секции. Так вот — свободен ли я сегодня после девяти часов вечера? Отвечаю на той же записке: «Да» — и спустя несколько минут получаю от секретаря полоску бумаги с красной печатью и подписью Каменевой: пропуск в Кремль. Секретарь шепчет:

— Ольга Давыдовна просит собраться у нее на дому, потому что здесь нетоплено и нельзя задерживать низших служащих.

Я подумал, что и впрямь уж лучше слушать ирландские пьесы в тепле, чем в холоде. С Неглинной пошел по сугробам к себе на Девичье Поле, а вечером — с Девичьего Поля в Кремль.

Дверь Каменевых — в самом конце Белого коридора, направо. Постучав, попадаю в столовую. Посредине комнаты — большой круглый стол. Несколько стульев. В углу, слева от входа — камин. Стены голые, коричнево-серые. Вообще у комнаты вид нежилой, казарменный. Кроме входной, в ней еще две двери, из которых левая закрыта. Хозяйка ведет меня в правую, в кабинет Каменева.

Войдя, вижу, что «наших», из репертуарной секции, никого еще нет. Каменев в новом, еще не обмятом костюме из коричневой кожи, беседует с двумя или тремя людьми большевицкого типа. Знакомимся, но, по русскому обычаю, фамилии так произносятся, что не разобрать их. Немного поговорив со мной, Ольга Давыдовна исчезает. Каменев продолжает разговор со своими гостями. Зачем они здесь? Впрочем, они вероятно уйдут, когда начнется наше заседание.

От тепла я давно отвык. В толстом свитере, в кожаной куртке на байковой подкладке, в валенках — мне становится слишком жарко, размаривает. Чтобы не задремать, разглядываю комнату. Ковер, большой письменный стол, телефон. Мягкая мебель — точно такая, как у Луначарского: очевидно весь Белый коридор ею обставлен. Выделяется только книжный шкаф, новый, темнозеленый. Подхожу, вижу за стеклами корешки, улыбаюсь.

В ту пору Книжная Лавка Писателей, где работал и я, почти одна торговала на всю Москву. Мы хорошо знали рынок. Огромный спрос был на философию, на стихи и на художественные издания, в особенности на последние. Новый покупатель кинулся на них жадно. Шел к нам «за искусством» и сознательный рабочий, и молодой пролеткультовец, и партиец. Но всего больше — попросту спекулянт, забронированный сорока мандатами, спешащий превратить падающие советские деньги в более прочные ценности. Конечно, золото, камни, валюта — лучше, но хранить их опасно. А книги пока еще разрешаются. Ну, конечно, и украшение для жилища, культурный лоск. Помню, один подкатил к лавке с разобранным книжным шкафом американской системы.

— Вот, купил шкаф по случаю. Теперь надо в него книг набрать.

Бенуа, Грабарь, издания Общины св. Евгении, всевозможные монографии о художниках. «Царская и императорская охота», Ровинский, Мутер, Рейнак, книги вел. кн. Николая Михайловича, издания «Скорпиона», «Грифа», «Альционы», «Золотое Руно», «Аполлон», «Старые Годы», даже «роскошное» Сытинское издание «Войны и мира», всё это было нарасхват, вместе со словарем Брокгауза и с изданием классиков. Требовалось всё видное, переплетённое, многотомное.

Все эти Грабари, Бенуа, «Скорпионы» да «Альционы» глянули на меня из-за стекол каменевского шкафа. Много книг, и многое, вижу, неразрезано. Да и где же так скоро прочесть всё это? Видно, что забрано тоже впрок, ради обстановки и для справок на случай изящного разговора. В те дни, советские дамы, знавшие только «Эрфуртскую программу», спешили навести на себя лоск. Они одевались у Ламановой, покровительствовали искусствам, ссорились из-за автомобилей и обзаводились «салонами». По обязанности, они покровительствовали пролетарским писателям, но «у себя», на равной ноге, хотелось им принимать «буржуазных».

Меж тем, собрались «наши». Пришел Балтрушайтис с папкой в руках (вот они где, ирландские пьесы!), за ним — Чулков, Иван Новиков, Волькенштейн. Пришел Сураварди, о котором надо сказать особо. Родом индус, он приехал в Россию из Оксфорда, в 1916 г., в качестве туриста. Побывал в Петербурге, в Киеве, в Крыму, а к концу 1917 года очутился в Москве. С изумительной быстротой научился он русскому языку и вскоре в литературной и театральной Москве стал всеобщим любимцем. Бывал всюду, работал в Художественном театре, основательно ознакомился с русской литературой и сумел полюбить не только ее, но и самую Россию, полюбить бескорыстно, в самые тяжкие годы ее. С нами он голодал, холодал, с нами же очутился и в репертуарной секции Тео. В 1920 г. он бежал из Совет-

ской России (его не хотели выпустить) и долгие годы жил в Праге, в Берлине, в Париже, жизнью русского эмигранта. Сейчас он в Индии.

Вдруг появился Вяч. Иванов, с ним еще кто-то из секции историко-театральной. Их неожиданный приход я старался объяснить себе тем, что, должно быть, на этот раз решено расширить состав «присутствия»: должно быть ирландские пьесы этого требуют... Так ли, иначе ли, но, повидимому, все, наконец, в сборе. Можно и заседать, скоро десять. Однако, Каменев со своими знакомыми не уходит.

Сураварди мне шепчет:

— Кажется, нас заманили в гости?

Я пожимаю плечами:

— Надеюсь, нет.

Вдруг шум, восклицания, смех в столовой — и разом вваливается целая кавалькада: Иван Рукавишников в своем зеленом френче, за ним Луначарский, сияющий, оживленный, между двух дам: одна — жена Рукавишникова, в черном шелковом платье, с бесчисленными оборками, с огромным вырезом на груди, другая — секретарша Луначарского, с длиннейшим, словно приклеенным носом. Вполне придворная тонкость: она в точно таком же платье, как госпожа Рукавишникова, только вырез гораздо меньше. Очевидно, эту компанию ждали. В комнате прибавляют света, мужчины осанятся, дамы щебечут. Теперь я уже и сам начинаю думать, что Сураварди прав: мы действительно угодили в гости. Хочу спросить Балтрушайтиса, в чем дело, но в эту минуту Луначарский, усевшись к письменому столу, громко спрашивает:

— Итак, можно приступить к чтению?

Все занимают места. Я смотрю на Балтрушайтиса: разве не он будет читать? В руках у него попрежнему папка с ирландскими пьесами. Луначарский говорит:

— Я предложу вашему вниманию две пьесы Ивана Васильевича.

Как? Пьесы Рукавишникова? А ирландские? Но дело сделано: очевидно за наше жалованье мы обязаны не только служить в Тео, но и составлять литературный салон Ольги Давыдовны.

Луначарский начинает читать. Час от часу не легче! Он читает по книге! Значит, мы должны слушать рукавишниковские пьесы, да еще не новые, а давно напечатанные, которые, даже если бы было нужно, мы могли бы прочесть сами. Это значит: нас заманили, чтобы фактом нашего присутствия чтение старых пьес мужа г-жи Рукавишниковой превратить в литературное событие.

Рукавишников был не бездарен, но пошл. Пьесы его, довольно вульгарная смесь из Бальмонта, Леонида Андреева, Метерлинка и еще всякой всячины, были написаны стихами вперемежку с прозой. В первой рассказывалось о каком-то таинственном часовщике, в котором, кажется, скрывался сам дьявол. Луначарский читал по всем правилам драматического искусства, за разных лиц — на разные голоса. Видимо, к чтению он заранее подготовился. Слушать его кривляние было тяжко. «Часовщик» тянулся долго. Надоел припев, повторявшийся много раз и, кажется, очень нравившийся Луначарскому. Слегка раскачиваясь и поблескивая пенснэ, он произносил стремительной скороговоркой:

— Быстро, быстро, быстро, быстро.

потом обрывал, выдерживал паузу и медленно говорил:

Мчится время...

и опять, после паузы, поскорее.

...в мастерской часовщика.

Когда оно эдак промчалось раз десять, пьеса кончилась. Но так как в Кремле время мчится не так быстро, как в мастерской часовщика (и как нам хотелось бы), то всем надоело. Хозяин пригласил пить чай.

Стол в столовой не только был «сервирован», но и так сказать — маскирован. Сервирован узкими фаянсовыми чашками с раструбом кверху. К чаю, как всем известно, такие не полагаются: они служат для шоколада. Но возможно, что Каменевым только такие при дележе и достались: это — дворцовые чашки, с тонким золотым ободком и черным двуглавым орлом. На таких же тарелочках лежали ломти черного хлеба, едва-едва смазанного топленым маслом, а в сахарнице — куски грязного, так называемого «игранного» сахару: свое название он получил от того, что покупался у красноармейцев, которые им расплачивались, играя друг с другом в карты. В этом и заключалась маскировка: скудостью угощенья хотели нам показать, что в Кремле питаются так же, как мы.

Общий разговор не налаживался. «Они» — между собой, «мы» — между собой. Один Вячеслав Иванов сумел найти общую тему с хозяевами. Меж тем близилась полночь, а впереди предстояла еще целая пьеса.

Опять перешли в кабинет. Во второй пьесе дело происходило на мельнице, где живет разная нечистая сила и между собой разговаривает. Есть на мельнице инфернальный кот. Он не говорит, но на протяжении всей пьесы то и дело кричит «мяу». Луначарского давно уже нет на свете и как-то неловко сейчас вспоминать его долгое, звучное, истомное мяуканье с руладами. Но тогда было невыносимо смешно смотреть, с каким артистическим увлечением мяукал министр народного просвещения. И главное — невозможно было отделаться от забавной мысли о том, как он это мяуканье репетировал — может быть, вместе с автором.

После чтения принято говорить о слышанном. Всем было ясно, что для советского театра вся эта вычурная декаденщина не подходит и что пьесы читаны только для того, чтобы потешить авторское самолюбие Рукавишникова. Поэтому разговор сразу принял общий ха-

рактер. Большевики говорили что-то большевицкое, но некстати, потому что какие же классовые интересы у мельничной нечисти? Потом сам Луначарский произнес что-то длинное и красивое, с разными звучными именами — вплоть до Агриппы Нетесгеймского. Наконец, — не могу этого утаить — кое-кто из писателей тоже счел долгом высказаться. Таким образом, цель вечера была достигнута: о «творчестве» Рукавишникова говорили, как будто всерьез, и его имя, хоть без восторгов, но всё же произносилось наряду с разными высокими именами: дескать, Гете полагал вот что, а Рукавишников — вот что, Новалис смотрел вот так, а Иван Рукавишников — иначе. Так что даже и сам Рукавишников, видимо, был доволен и иногда издавал эдакое задумчивое и многозначительное «э-э» или «угу» или уже вовсе без обиняков: «ммм». Дело в том, что он был, по обыкновению, пьян.

Был второй час на исходе. Стали прощаться. Хозяева уговаривали побыть еще. Вячеслав Иванов сказал с улыбкой:

— Нет, пора. Хорошо вам, вы остаетесь в Акрополе, а нам еще идти в город.

Простившись с обитателями Акрополя, мы вышли. Опять у подъезда лошади Рукавишниковых. Опять Полифем у ворот считает нас, трогая за плечо: «Один, другой, третий... Проходи!» Ночь. Мороз. Впереди — Воздвиженка — непроглядная. Кажется, что нехватит сил дойти до дому.

Ничего, дойдем. Бог нас не оставит.

III

К началу 1920 г. я уже не служил в Театральном отделе, зато заведовал двумя маленькими учреждениями: московским отделением издательства «Всемирная Литература» и Московской Книжной Палатой. Одно помещалось на Знаменке, другое — на Девичьем Поле. Оба находились под вечной угрозой уплотнения и выселения. Лично я тоже мучился, живя в полуподвальном этаже, в квартире, нетопленной больше года. С улицы, сквозь гнилые рамы, текли в комнаты потоки талого снега. Стекла были на палец покрыты льдом. Я стал мечтать о том, чтобы сразу избавиться от всех трех кризисов, отыскав такую квартиру, в которую можно было бы поместить и оба мои учреждения, и себя самого. Весь январь и половина февраля ушли на бесплодные поиски.

Приближение болезни я почти всегда ощущаю заранее. Так было и в этот раз. Чувствовал, что уже больше месяца на ногах мне не продержаться: слягу от изнурения и истощения. Однако, решил напречь последние силы. Ходил из конца в конец города, осматривая разгромленные квартиры — без окон, без дверей, без обоев, с ваннами, полными заледеневших нечистот, с полами, проженными до земляного наката, потому что на них перед этим разводились костры. Никуда нельзя было въехать без ремонта, о котором при тогдашних обстоятельствах нечего было и думать.

Между тем, я слабел с каждым днем. Наконец, я решил идти к Каменеву, как председателю Московского совета: пусть он мне даст письмо в центральный жилищный отдел. Я позвонил к нему по телефону; он мне назначил свидание вечером, у себя на дому.

Я пришел в условленный час, но его еще не было. Ольга Давыдовна, у которой к тому времени почему-то отняли Театральный отдел и дали в заведывание отдел социального обеспечения, сидела в столовой за круглым столом со своим подчиненным — коммунистом Дивильковским. Случайно я кое-что знал о нем. Это был старый большевик, честный человек, не сумевший сделать карьеры; повидимому, он страдал горловой чахоткой, был тощь, зелен лицом, очень беден и обременен семейством. Кстати сказать, это отец того Дивильковского, который впоследствии состоял при Воровском и был ранен в Лозанне, когда Воровской был убит. Другой сын, лет двенадцати, в ту зиму захворал туберкулезом; его поместили в санаторий, где находился один мой родственник; бедный мальчик мечтал иметь монте-кристо, случайно у меня было такое ружьишко, которое я ему и послал — в подарок от неизвестного.

Ольга Давыдовна долго мытарила Дивильковского разговором о съезде каких-то работниц, близоруко ныряла в портфель, доставала оттуда бесчисленные листы ремингтонированной бумаги и без умолку тараторила: энергично проводила какую-то кампанию. Дивильковский кашлял и смиренно с ней соглашался. Я сидел у камина и, как в прошлое посещение, меня разморило от непривычного тепла.

Наконец, насытясь программами и проектами, она спросила у Дивильковского:

— Как ваш мальчик?

— Плох. Доктор велел давать портвейну или коньяку с молоком — да где ж их достанешь?

Я думаю, что это было сказано не без тайной надежды: вся Москва знала, что именно у Каменевых вино водится в изобилии. В частности, «каменевский» коньяк, которым они кое-кого угощали, даже славился.

Казалось, Ольга Давыдовна была тронута:

— Бедный мальчик, я дам ему рису. Кажется, у нас и вино найдется.

Потом опять пошли разговоры, потом пришел Каменев, потом Ольга Давыдовна выбежала из комнаты и вернулась с крошечным мешочком — не более полуфунта.

— Вот рис для вашего сына.

А вино? Вино было забыто, затараторено. Дивильковский взял рис, низко кланялся, благодарил, ушел.

Я изложил Каменеву свое дело. Он долго молчал, а потом ответил мне так:

— Конечно, письмо в жилищный отдел я могу вам дать. Но поверьте — вам от этого будет только хуже.

— Почему хуже?

— А вот почему. Сейчас они просто для вас ничего не сделают, а если вы к ним придете с моим письмом, они будут делать вид, что стараются вас устроить. Вы получите кучу адресов и только замучаетесь, обходя свободные квартиры, но ни одной не возьмете, потому что пригодные для житья давно заняты, а пустуют такие, в которые вселиться немыслимо.

Я молчу, но сам чувствую, как лицо у меня вытягивается. Каменев после паузы продолжает:

— Конечно, у них есть припрятанные квартиры. Но ведь вы же и сами знаете, что это — преступники, они торгуют квартирами, а задаром их вам никогда не укажут.

Снова молчание.

— Если вы непременно хотите, я дам письмо, — повторяет Каменев, — только ведь вы меня же потом проклянете.

Молчу. Надо поблагодарить и уйти, но подняться почти нет сил, потому что я болен, а главное — потому что после Каменева уже обращаться некуда. Покуда я здесь — вдруг что-нибудь еще наклюнется? Если же я уйду, всё будет кончено, и надеяться больше не на что. Должно быть всё это написано у меня на лице, и Каменев неожиданно спрашивает, не без легкого раздражения:

— Ну, а что бы вы *раньше* сделали в таком случае?

— *Раньше* — я бы купил «Русское Слово» и снял бы квартиру по объявлению.

Каменев не ответил; он уходит в свой кабинет и возвращается в шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Прощается. Я тоже хочу уйти, но Ольга Давыдовна меня удерживает:

— Посидите, пожалуйста, я с вами хотела посоветоваться по одному делу.

Опять сажусь у огня и к стыду своему чувствую, что я рад остаться: в ушах шумит, сердце тяжело бьется, к ногам и рукам привязаны пудовые гири. Тащиться домой через всю Москву нет сил.

Из просителя я превращаюсь в знакомого. Мы с Ольгой Давыдовной коротаем вечер. Она в черной юбке и в белой батистовой кофточке. Должно быть, за день она тоже немного устала, прическа ее рассыпалась. Она меланхолически мешает угли в камине и развивает свою мысль: поэты, художники, музыканты не родятся, а делаются; идея о прирожденном даре выдумана феодалами для того, чтобы сохранить в своих руках художественную гегемонию; каждого рабочего можно сделать поэтом или живописцем, каждую работницу — певицей или танцовщицей; дело всё только в доброй воле, в хороших учителях, в усидчивости...

Этой чепухи я уже много слышал на своем веку — и от большевиков, и не только от них. Возражаю лениво, не для того, чтобы переубедить ее, а для того только, чтобы не вводить в заблуждение мнимым согласием. Боже мой! Что за странная женщина! Дала бы мне спокойно отдохнуть и посидеть в тепле! Не тут-то было, ей нужно перемалывать «культурные» темы! Вместо того, чтобы самой отдохнуть, она произносит передо мной целую речь — интересно знать, которую за сегодняшний день?

После всевозможных околесиц, для меня становится ясно, что Ольга Давыдовна не хочет примириться с утратой Театрального отдела. Ей непременно нужно вмешиваться в дела художественные. Поэтому она затевает новую организацию, нечто вроде покойного Пролеткульта, но не Пролеткульт. В чем состоит разница, мне не ясно, да и не интересно, но нельзя сомневаться, что Ольга Давыдовна намерена собрать писателей, музыкантов, артистов, художников, чтобы сообща обсудить проект. Это значит — опять будут морить людей заседаниями, в которых я лично могу не участвовать, потому что у меня две службы, но в которых заставят участвовать тех, у кого нет службы и кого можно за неучастие обвинить в саботаже. Мне хочется выгородить товарищей, и я начинаю доказывать Ольге Давыдовне, что писателей звать не стоит, что они могут читать лекции по своей специальности, когда всё будет готово, но организовывать они ничего не умеют, это не их дело. Между прочим, оно так и есть в действительности, но Ольга Давыдовна мечтает именно хорошенько позаседать. К счастью, в эту минуту входит толстая баба в валенках — прислуга. Она зовет Ольгу Давыдовну к сыну. Ольга Давыдовна убегает.

В ожидании, пока она вернется, я прогуливаюсь по комнате. Подхожу к окну, возле которого стоят высокие деревянные козлы. На них — картонная модель

театральной сцены, замеченная мною еще в прошлое посещение. Она потрепалась, покрылась пылью, занавес висит косяком. Заглядываю внутрь и вижу пустую сцену без декораций, посредине которой лежит желтая кобура револьвера. Тогда это зрелище показалось мне олицетворением театральной деятельности Ольги Давыдовны, и я улыбнулся. Теперь вспоминаю его, как предзнаменование гораздо более мрачное.

Ольга Давыдовна возвращается и говорит сокрушенным голосом:

— Что за несчастный мальчик! Хворает уже больше месяца! Совсем уже было поправился — а вот сегодня опять ему хуже. А ведь какой способный! Прекрасно учится, необыкновенно живо всё схватывает, прямо на лету! Всего четырнадцать лет (кажется, она сказала именно четырнадцать) — а уже сорганизовал союз молодых коммунистов из кремлевских ребят... У них всё на военную ногу.

Если не ошибаюсь, этот потешный полк маленького Каменева развился впоследствии в комсомол. О сыне Ольга Давыдовна говорит долго, неинтересно, но мне даже приятно слушать от нее эти человеческие, не из книжек нахватанные слова. И даже становится жаль ее: живет в каких-то затверженных абстракциях, схемах, мыслях, не ею созданных; недаровитая и неумная, всё-то она норовит стать в позу, сыграть какую-то непосильную роль, вылезть из кожи, прыгнуть выше головы. Говорит о работницах, которых не знает, об искусстве, которого тоже не знает и не понимает. А вероятно, если бы взялась за посильное и подходящее дело — была бы хорошим зубным врачем... или просто хорошей хозяйкой, доброй матерью. Ведь вот есть же в ней настоящее материнское чувство...

И вдруг...

Вдруг — отвратительно, безобразно, постыдно, без всякого перехода, без паузы, как привычный следова-

тель, который хочет поймать свидетеля, Ольга Каменева ошарашивает меня вопросом:

— А как по-вашему, Балтрушайтис искренне сочувствует советской власти?

Этот шпионский вопрос вдвойне мерзок потому, что Балтрушайтис, как всем известно, личный знакомый Каменевых. Он бывает у них запросто, а между тем, Ольга Давыдовна шпионит о нем окольными путями. И этот вопрос еще вчетверо, вдесятеро, в тысячу раз мерзок тем, когда и как задан. Оказывается, она говорила о больном сыне для того только, чтобы неожиданней подцепить меня. Конечно, это уж очень нехитрый прием, пригодный разве только для уловления уж очень простых и неподготовленных людей. И конечно, — Ольга Давыдовна знает, что вряд ли я на него попадусь. Тем не менее, вслед за вопросом о благонадежности Балтрушайтиса она спрашивает о Бальмонте, о Брюсове, о целом ряде писателей. При этом, то щурясь, то поднимая к глазам лорнетку, она изо всех сил глядит мне в лицо. Ни оборвать, ни замять этот разговор нельзя, потому что это для нее будет значить, что тема о любви писателей к советской власти кажется мне рискованной. И вот я поддерживаю этот разговор, как ни в чем ни бывало, и мы беседуем, перебирая знакомых одного за другим, и выходит по моим сведениям, что всё это люди с точки зрения преданности советской власти отменнейшие. Похоже на разговор Чичикова с Маниловым. Вся трудность для меня заключается в том, что о каждом человеке надо сказать по-разному, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-нибудь показался Ольге Давыдовне менее благонадежным, чем другие.

После небольшой паузы, глядя в огонь и рассеянно мешая кочергой уголья, Ольга Давыдовна полунебрежно, но в то же время не скрывая легкой досады, спрашивает:

— А вы, значит, попрежнему заведуете московским отделением «Всемирной Литературы»?

— Да, — отвечаю я, но этот вопрос заставляет меня снова насторожиться.

Дело в том, что идея этого издательства принадлежала Максиму Горькому, который и стоял во главе его. В то же время мне было известно, что между семействами Горького и Каменева идет вражда. Когда в Москве учреждался Театральный отдел, на заведывание им претендовала жена Горького, М. Ф. Андреева, бывшая артистка Художественного театра. По разным причинам кандидатура Андреевой в Москве провалилась, и вместо всероссийского Театрального отдела ей дали в заведывание маленький петербургский отдел, а управлять всероссийским посадили г-жу Каменеву. Андреева, однако же, не сдавалась и, говорят, вела под Каменеву подкопы. Ольга Давыдовна всячески защищалась и, между прочим, на помощь призвала Мейерхольда. В начале 1919 года, будучи в Петербурге, я даже от нечего делать симпровизировал на эту тему целую былину в народном духе. В квартире Горького она имела большой успех. Теперь я помню из нее лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка:
Свет-княгинюшка, Ольга Давыдовна,
«Уж ты гой еси Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай своево коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку»,
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее о сыру землю... — и т. д.

Памятуя всё это, я предвидел, что вопросы мне будут заданы каверзные и решил держать ухо востро. Ольга Давыдовна, всё тем же небрежным тоном, как бы стараясь дать мне понять, что предмет разговора не особенно ее занимает, сказала:

— Говорят, Горький по уши ушел в свою «Всемирную Литературу», так что сам уже даже ничего и не пишет. Это верно?

— Не знаю, откуда у вас такие сведения, — отвечал я. — Мне, напротив, показалось, что он делами издательства интересуется даже меньше, чем можно было ожидать.

Это была правда. Кроме того, я думал, что лишаю Ольгу Давыдовну возможности злословить дальше. Поэтому я был очень доволен своим ответом, но радость моя была преждевременна. Оказалось, что тут-то я и попался. Ольга Давыдовна словно ждала моих слов — и тотчас же оживилась:

— А значит верно мне говорили, что «Всемирная Литература» устроена только для того, чтобы такие-то (она назвала мне фамилии, которые я здесь опускаю) могли мошенничать за счет государства? Ну, разумеется! Я просто не понимаю, как можете вы работать в издательстве Горького. Это же гнездо мошенников, потому что он сам мошенник и покровитель мошенников!

К счастью моему, в эту самую минуту, не стучаясь, в комнату ввалились два красноармейца с винтовками. Снег сыпался с их шинелей, — на улице шла метель. У одного из них в руках был пакет.

— Товарищу Каменеву от товарища Ленина.

Ольга Давыдовна протянула руку.

— Товарища Каменева нет дома. Дайте мне.

— Приказано в собственные руки. Нам намедни попало за то, что вашему сынку отдали.

Ольга Давыдовна долго и раздраженно спорит, получает-таки пакет и относит его в соседнюю комнату. Красноармейцы уходят. Она снова садится перед камином и говорит:

— Экие чудаки! Конечно, они исполняют то, что им велено, но нашему Лютику можно доверить решительно всё, что угодно. Он был совсем еще маленьким, когда его царские жандармы допрашивали — и то ничего не добились. Знаете, он у нас иногда присутствует на самых важных совещаниях, и приходится только удивляться, до какой степени он знает людей! Иногда сидит, слушает молча, а потом, когда все уйдут, вдруг возьмет да и скажет: «Папочка, мамочка, вы не верьте товарищу такому-то. Это он всё только притворяется и вам льстит, а я знаю, что в душе он буржуй и предатель рабочего класса». Сперва мы, разумеется, не обращали внимания на его слова, но когда раза два выяснилось, что он был прав относительно старых, как будто самых испытанных коммунистов, — признаться, мы стали к нему прислушиваться. И теперь обо всех, с кем приходится иметь дело, мы спрашиваем мнение Лютика.

«Вот тебе на! — думаю я. — Значит, работает человек в партии много лет, сидит в тюрьмах, может быть — отбывает каторгу, может быть — рискует жизнью, а потом, когда партия приходит, наконец, к власти — проницательный мальчишка чуть ли не озаренный свыше, этакий домашний оракул, объявляет его «предателем рабочего класса» — и мальчишке этому верят».

Тем временем, Ольга Давыдовна тараторит:

— А какой самостоятельный — вы и представить себе не можете! В прошлом году пристал, чтобы мы его отпустили на Волгу с товарищем Раскольниковым. Мы не хотели пускать — опасно, всё-таки — но он настоял на своем. Я потом говорю товарищу Раскољ-

никову: «Он наверное вам мешал? И не рады были, что взяли?» А товарищ Раскольников отвечает: «Что вы! Да он у вас молодчина! Приехали мы с ним в Нижний. Там всякого народа ждет меня по делам — видимо-невидимо. А он взял револьвер, стал у моих дверей — никого не пустил!» Вернулся наш Лютик совсем другим: возмужал, окреп, вырос... Товарищ Раскольников тогда командовал флотом. И представьте — он нашего Лютика там, на Волге, одел по-матросски: матросская куртка, матросская шапочка, фуфайка такая, знаете, полосатая. Даже башмаки — как матросы носят. Ну — настоящий маленький матросик!

Слушать ее мне противно и жутковато. Ведь так же точно, таким же матросиком, недавно бегал еще один мальчик, сыну ее примерно ровесник: наследник, убитый большевиками, ребенок, кровь которого на руках вот у этих счастливых родителей!

А Ольга Давыдовна не унимается:

— Мне даже вспомнилось: ведь и раньше бывало детей одевали в солдатскую форму или в матросскую...

Вдруг она умолкает, пристально и как бы с удивлением глядит на меня и я чувствую, что моя мысль ей передалась. Но она надеется, что это еще только ее мысль, что я не вспомнил еще о наследнике. Она хочет что-нибудь поскорее добавить, чтобы не дать мне времени о нем вспомнить, — и топит себя еще глубже.

— То есть я хочу сказать, — бормочет она, — что, может быть, нашему Лютику в самом деле суждено стать моряком. Ведь вот и раньше бывало, что с детства записывали во флот...

Я смотрю на нее. Я вижу, что она знает мои мысли. Она хочет как-нибудь оборвать разговор, но ей дьявольски не везет, от волнения она начинает выбалтывать как раз то самое, что хотела бы скрыть, и в полном замешательстве она срывается окончательно:

— Только бы он был жив и здоров!

Я нарочно молчу, чтобы заставить ее глубже почувствовать происшедшее.

Пауза. Потом она встает, поправляет волосы и говорит неестественным голосом, как на сцене:

— Что же это Лев Борисович не приходит? Мы бы все вместе выпили чаю.

Но я встаю и прощаюсь. Опять часовой, мост, башня-Кутафья. За башнею — тьма: Воздвиженка, Арбат, Плющиха. Иду, натыкаясь на снеговые сугробы, еле волоча ноги, задыхаясь и обливаясь потом от слабости.

Две недели спустя я слег — на три месяца, но начавшаяся болезнь мучила меня с перерывами восемь лет.

В Белом коридоре я больше никогда не был — Бог миловал.

1937 г.

ЗДРАВНИЦА

Было мне лет пятнадцать, когда старший брат (он был на много старше меня) однажды положил передо мною книгу в зеленой обложке и сказал:

— На-ка, прочти. В наше время было запрещено.

Некрасивыми буквами на обложке стояло: «Н. Г. Чернышевский. Что делать?».

В гимназии в это время читал я Гомера, Овидия, Тита Ливия, Слово о Полку Игореве. Дома зачитывался Шекспиром, декламировал монологи Ричарда III и знал наизусть «Гамлета» в переводе Полевого. В кругу таких чтений Чернышевский сразу показался мне каким-то провинциалом. Мысленно я вводил Ричарда или Кориолана в круг персонажей «Что делать?» — и мне представлялся образ орла в курятнике. После прозы Ливия или Слова о Полку доморощенная проза Чернышевского была жалка. Прочитав страниц восемьдесят, я вернул книгу брату. В тот день я узнал, что в мировой литературе существует свое *захолустье*.

Впоследствии я научился снисходительнее соразмерять свои требования, но «Что делать?» ни разу не мог дочитать до конца. Роман остался в моем сознании образцом литературно-общественного плюсквамперфектума. И уж никак я не ожидал, что почти через двадцать лет после первого знакомства с «Что делать?» доведется мне лично встретиться с его героиней — да еще жить с ней под одной кровлей.

*
* *

Марья Александровна Сеченова, вдова знаменитого ученого, увековеченная в «Что делать?» под именем Верочки, Веры Павловны Лопухиной, всего лишь на днях скончалась в Москве, в убежище для престарелых деятелей медицинской науки.

Летом 1920 года я прожил в этом убежище около трех месяцев. В то время оно еще называлось «здравницей для переутомленных работников умственного труда». Впрочем, уже тогда здравницу предполагалось обратить в постоянное убежище для медиков.

В здравницу устроил меня Гершензон, который тогда сам отдыхал в ней, так же, как Вячеслав Иванов. Находилась она между Плющихой и Смоленским рынком, в 3-м Неопалимовском переулке, в белом двухэтажном доме. Внизу помещалась обширная столовая, библиотека, кабинет врача, кухня и службы. Вверху жили пансионеры. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом.

Мне посчастливилось: отвели отдельную комнату. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом — небольшой столик. В противоположном углу (по диагонали), возле окна, находились кровать и стол Вячеслава Иванова. В углу вечно мятежного Гершензона царил опрятный порядок: чисто постланная постель, немногие, тщательно разложенные вещи на столике. У эллина Вячеслава Иванова — всё всклокочено, груды книг, бумаг и окурков под слоем пепла и пыли; под книгами — шляпа, на книгах — распоротый пакет табаку.

Из этих-то «двух углов» и происходила тогда известная «Переписка». Впрочем, к моему появлению, она уже заканчивалась. Гершензон вскоре и вовсе покинул свой угол, а несколько позже и Вячеслав Иванов.

В первый же день, за несколько минут до обеда. Гершензон повел меня в столовую и показал прикнопленную к стене картину. То была целая хартия, аршина в три шириной, вышиной вершков в десять. Вдоль хартии протекала синяя акварельная река. Розовые голые человечки, в неизъяснимом количестве, теснясь и толкаясь, местами погуще, местами пореже валились и лезли в воду. Иные уже в ней барахтались — особенно старики и младенцы. По берегу стояли столбы с цифрами: 1-4, 5-15, 81-90 и т. п. Гершензон пояснил, что сия «река времен» принадлежит кисти профессора Г., гинеколога, который сейчас появится. Изображает картина сравнительную смертность в различных возрастах — потому и цифры на столбах. Река же есть смерть. А показал мне Гершензон картину затем, чтобы я чего-нибудь не «брякнул» при авторе. Я поклялся не брякать. Автор явился, волоча правую ногу и раз навсегда подняв левую бровь. Он был высок, бородат, сед, худ, важен.

Он сел на председательское место и отнесся ко мне неодобрительно: поэтов не уважал. Но через несколько дней мы сдружились. Дело в том, что профессор был автором двухтомной и препочтенной «Оперативной гинекологии», а я как раз за год до того эту книжищу вынужден был проштудировать для одной предполагавшейся работы (которую до конца не довел). Узнав об этом, профессор весьма удивился, приятно осклабился и признал за мной право на существование. С тех пор мы частенько беседовали о прорезывании головки, о повороте на ножку и на прочие тому подобные темы.

Был профессор суров, прям, не оставлял иллюзий, называл вещи своими именами и говорил со словоерса-

ми. Если кто-нибудь за столом замечал, что утка с душком, он тотчас откликался:

— Не беда-с, хорошо, что дают хоть тухлую-с. Дичь, будучи изжарена в начале процесса разложения, может быть употребляема в пищу без опасений.

Здравницу он откровенно называл богадельней, от чего многих коробило. Если кто был печален, он утешал:

— Богадельня — это вам не свадебное путешествие-с. Отсюда дорога — на кладбище-с.

Зато великий оптимист был наш врач, мужчина бодрый, веселый, в соку и в расцвете лет. За отсутствием медикаментов, лечил он термометром и взвешиванием. Чтобы не расстраиваться, он, подобно алхимикам, подбрасывавшим в составы свои настоящего золота, любил взвешивать пациентов один раз «после стула», а в следующий — тотчас после обеда. И результатами утешался, записывая их в книгу.



Население здравницы было текуче. За отсутствием гостиницы, служила она иногда пристанищем для ученых, приезжавших в Москву по делам. Так, останавливался в ней Н. Н. Фирсов, казанский профессор, специалист по пугачевщине, тот самый, который в Академическом издании «Истории Пугачевского бунта», как дважды два доказал, что девяносто лет тому назад Пушкину неизвестны были нынешние методы исторического исследования... Приезжали и другие.

Из числа постоянных обитателей, кроме Г., вспоминается мне г-жа Б., одна из старейших женщин-врачей, горбатая, с тонким и грустным еврейским лицом, умная, добрая. Ей посчастливилось уехать в Ригу, к сыну, и все за нее радовались. Ее место заняла Л. И.

Аксельрод-Ортодокс, привезенная из Тамбова, по приказанию Ленина, но безжалостно им забытая в здравнице. Бедная Л. И. всё томилась: призовут ее в Кремль или не призовут? Наконец, призвали и поручили читать какие-то лекции. Кроме нее, были еще две политические дамы, но уже вышедшие в тираж, совсем дряхлые. Обе по скольку-то лет отсидели в тюрьмах, а ныне кончали век в «богадельне». Одна была маленькая и толстая, другая — высокая, тощая, стриженая, с неприятным подергиванием лица и к тому же гундосая. Как повелось еще в древности и как в свое время заметил Брейгель, толстая ненавидела тощую, а тощая — толстую. Они жили в одной комнате. Нападала толстая, потому что от тощей будто бы нестерпимо пахло какими-то мазями, которые та запускала в нос свой. А главное потому, что тощая по ночам храпела чрезмерно и на все лады, даже до присвиста. Они помирились на том, что тощая разрешила к большому пальцу правой ноги своей привязать веревочку, другой конец которой был привязан к кровати толстой. Просыпаясь от храпа тощей, толстая дергала за веревочку, тощая просыпалась и на время храп обрывался. Таким образом, партийная связь двух дам была как бы закреплена вещественным образом.

Профессор М., специалист по судебной медицине, жил поблизости у себя дома, а в здравницу приходил только обедать и ужинать. На своем веку вскрыл он какое-то невероятное количество трупов. Говорят, во время войны старший сын его был на фронте и писал отцу письма. Внезапно однажды ночью профессор разбудил домашних и объявил, что сын только что убит. Никакие уговоры не подействовали. На утро М. купил гроб и поехал в ту часть, где служил его сын. Приехав, узнал, что прапорщик М. действительно был убит в ту самую ночь, когда отец видел сон. Похоронив сына, М. вернулся в Москву и с тех пор обратился к религии.

Жизнь его протекала между церковью и анатомическим театром. В обхождении был он мягок, доброжелателен и всё как-то странно задумывался, поглаживая бороду или потирая ладонью лоб.

Странные разговоры водили все эти люди, сходясь за обедом или ужином. Каждый громко говорил о своем, никого не слушая и ни к кому не обращаясь. Особенно языки развязывались за дессертом.

— Вот скоро от вас уеду, — говорила г-жа Б. — в Ригу поеду, к сыну...

— Вы представьте себе, — бормотал М. — пять лет страдал человек головными болями, вчера помер. Я его нынче вскрыл и в правом мозговом полушарии нашел глисту. Вот история!

— В семидесятых годах, — говорил Г. — гинекологическая клиника была на Рождественке. Диваны были клеенчатые. А знаете вы, чем пахло? — внезапно покрикивал он, обращаясь ко мне. — Чем пахло?

Я решительно не знал, чем пахло пятьдесят лет тому назад в гинекологической клинике.

— А первородным калом-с! Вот чем-с!

— Маркс... Маркс... Маркс... Энгельс... Плеханов... Богданов... Ленин... — как телеграф, выстукивала г-жа Ортодокс. — Каутский... Мартов... Ленин... Маркс... Маркс...

Мария Александровна Сеченова за столом молчала. Была она маленькая, сухонькая старушка, очень моложавая. Никак я не думал, что было ей уже восемьдесят пять лет. Одевалась чрезвычайно опрятно, даже не без щегольства. Чуть ли не ежедневно являлась в чистой английской кофточке, с удачно подобранным галстучком.

Странное обстоятельство нас довольно часто соединяло. В здравнице жила молодая дама, приезжая из Крыма женщина-врач. Старушки ее любили и называли Белочкой. Ничем она не выделялась, кроме того,

что была моложе других. Мы с ней довольно часто беседовали. И вот Сеченовой пришло в голову, что разговоры наши весьма опасны для Белочки. В воображении Сеченовой развертывался роман, в котором я играл роль коварного соблазнителя, а тридцатилетняя Белочка — роль невинной жертвы. Чтобы не допустить Белочку до «непоправимого шага», «после которого всё уже будет напрасно», Сеченова старалась не оставлять нас одних.

Я сначала был этим доволен, потому что незамысловатые беседы веселее вести втроем, чем вдвоем. Кроме того, я надеялся что-нибудь выведать у старушки о временах прошедших. Надежды не оправдались. Сеченова была незанимательна. Ни разу не рассказала ничего любопытного. Сидела накрахмаленная, сухая, с чисто вымытыми морщинками маленьких рук, и почти ничего не говорила. На лице ее не было написано ничего, кроме мужественного упорства, с которым человек должен переносить скуку жизни.

Лето было жаркое, и мы с Белочкой иногда ходили подышать воздухом на Девичье поле. Сеченова ходила с нами. Садились мы на скамеечку, в сквере. Голодные, ободранные ребятишки из советских приютов, под управлением голодной барышни, водили бесконечные хороводы:

Как для Ванюшки-Ванюши
Испекла я каравай.
Вот такой вышины,
Вот такой низины...
Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай.

Однажды зашла речь о человеке, который недавно отравился цианистым калием. Сеченова спросила:

— Он сразу действует?

— Сразу.

Потом говорила о чём-то еще. И вдруг — Мария Александровна:

— А его очень трудно достать?

Пошли к дому. Дети всё пели песню свою с единственным вариантом:

Как для Ванюшки-Ванюши
Испекла я каравай.
Вот такой ширины,
Вот такой узины...
Каравай, каравай,
Кого хочешь выбирай.

* * *

Осенью Белочка уехала. Я прочитал всю библиотеку здравницы: «Исторический Вестник» за три года и полное собрание сочинений Дениса Давыдова. Люди сменялись. Поселился Юлий Алексеевич Бунин (старший брат И. А.), человек всей Москве знакомый и всею Москвой любимый. Был он не столько болен, сколько угнетен. Знали мы давно друг друга, но только тут как-то вдруг сжились. Несмотря на разницу лет, взглядов, вкусов, здесь, в здравнице, мы оказались самыми близкими людьми, он — мне, я — (смею думать) ему. Вот и коротали вместе и дни, и вечера. Говорили об общих знакомых, вспоминали Литературно-Художественный Кружок, который сам по себе, без Юлия Алексеевича, не вспоминается. Если мне удалось в те дни несколько развлечь тоску этого бесконечно доброго и благородного человека — я за то благодарен судьбе.

Поздней осенью я покинул здравницу, а потом затеял перебраться в Петербург. 16 ноября, накануне отъезда, что-то вдруг потянуло меня в здравницу, еще

раз проститься с Буниным. Я совершенно уверен был, что более его не увижу. Я прибежал в здравницу в десятом часу вечера. Юлий Алексеевич лежал на кровати, одетый, под одеялом. Мы немного поговорили и обнялись на прощанье. Через несколько месяцев его не стало.

Уходя, в коридоре, я встретил Сеченову. Она куда-то спешила, семеня мелкими шажками. Вот теперь умерла и она. Представляю себе, как из белого дома в 3-м Неопалимовском переулке выносили ее маленький гробик. Она завещала похоронить себя без церковного обряда: до девяноста четырех лет осталась верна идеям юности.

О прочих обитателях здравницы я ничего не знаю.

1929 г.

ТОРГОВЛЯ

Перед так называемыми интеллигентными профессиями, особливо перед всякими художествами, торговля имеет то неоспоримое и высокое преимущество, что на сем скромном поприще люди и вещи называются настоящими своими именами, а деяния имеют естественные последствия. Честный человек называется честным человеком, а мошенник мошенником, и если ему даже удается ускользнуть от правосудия, то с ним, по крайности, избегают иметь дело. Вот почему всё более тянет меня к коммерции, и почему всё более радужными красками расцвечиваются мои воспоминания о немногих случаях, когда доводилось мне заниматься торговлей.

Мне было лет шесть, мы жили на даче в Богородском, возле Сокольников. Там свел я дружбу с Алешей и Колей Щенковыми, детьми С. В. Щенкова, гласного московской городской думы. Отличные были мальчики, настоящие краснокожие, национально мыслящие могикане. Им подарили лоток с весами и гирьками. На лоток положили мы лопухов, изображавших капусту, какой-то пушистой травки, олицетворявшей укроп, еще чего-то — и превратились в разносчиков. Кухарки, няньки и матери должны были разыгрывать покупательниц. Часа через два мы им совершенно осточертели. Тогда я (именно я, на этом настаиваю!) придумал дело более прочное и занятное. В складчину образовали мы оборотный капитал примерно копеек в сорок. Купили на пятачок подсолнухов, плитку шоколада за пятачок, десяток папирос за шесть копеек, несколько карамелек — и открыли торговлю в парке, на широкой аллее, ве-

дущей к танцульке. Мы продавали каждую папиросу за три копейки, каждую карамельку за пятачок, одну треть шоколадной плитки за пятачок же — и так далее. День был воскресный. Гуляющая публика так и теснилась вокруг нас — приходилось то и дело бегать в лавочку за новым товаром. Словом, у нас было уже рублей семь денег к тому горестному моменту, когда стоустая молва о нашей фирме дошла до слуха родителей. Всё кончилось грубою реквизицией товара, конфискацией капитала и трехголосым ревом. Видит Бог, мы ревели не оттого, что лишились денег. Не жадность нас окрыляла, но высокое спортивное чувство. Не мечта о богатстве, но сказочный рост самого предприятия — вот что восхищало нас, возбуждая любовь к труду, изобретательность, предприимчивость. Увы, современники нас не оценили...

Четверть века спустя, в 1918 году, довелось мне вновь стать за прилавок — в московской Книжной Лавке Писателей. Подробно о ней рассказывать не буду, потому, что на сей счет существует уже целая литература, страдающая, на мой взгляд, сильными преувеличениями в сторону «идейности». Судя по тому, что писалось о Книжной Лавке, можно подумать, будто это было какое-то необыкновенно возвышенное предприятие, ставившее себе единственно культурные цели, — чуть ли не луч света в темном царстве военного коммунизма. Не отрицаю, что кое-какую культурную роль лавка сыграла, но, разумеется, ее сознание определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря, возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало негде.

После этого торговал я еще два раза, но уже торговля моя носила характер эпизодический. В первый раз дело было так. В ноябре 1920 г., собираясь переселиться в Петербург, я обнаружил, что валенки у меня есть, а сапог нет, и что, следовательно, весной в Петер-

бурге наступит кризис. Не надеясь на легкое разрешение его, постановил я обзавестись башмаками заблаговременно и с этою целью отправился к Луначарскому. Наркомпрос находился тогда в здании Лицея, у Крымского моста. В ту пору была война, и вся Москва покрыта была плакатами с надписью: «Не сдадимся, выдержим, победим». Такой плакат красовался и над дверью в кабинет Луначарского, отличаясь от прочих тем, что на нем слово «сдадимся» было написано через «з»: «не *здадимся*». Луначарский принял меня как нельзя более любезно и тотчас продиктовал машинистке записку, куда следовало, о том, что он просит оказать мне содействие в приобретении башмаков. В благодарность я вывел Луначарского из кабинета и обратил его внимание на плакат, который над дверью в кабинет министра народного просвещения имел вид уж очень компрометтантный. Луначарский всполошился, созвал секретарш и приказал плакат переделать, либо убрать. Мы простились.

На другой день я отправился на Мясницкую, в учреждение, ведавшее распределением обуви. Путешествовать туда с Девичьего Поля, где я жил, было не легко. Доплелся я до места измученный вдребезги — и узнал, что на моей записке недостает какой-то печати или еще чего-то. Пришлось опять идти к Луначарскому, опять часа два дежурить в его приемной — и опять часа два любоваться на тот же плакат, который остался совершенно таким же, как был прежде, только висел теперь не над дверью, а рядом с ней. Луначарский велел написать мне новую записку и я ушел, на сей раз уже ничего не сказав о плакате.

При втором посещении сапожного центра я там выстоял в двух очередях часа по три в каждой. Зато добился важного результата: узнал, что фактически обувь имеется только в «распределителе № 1», куда и необходимо получить ордер, ибо если я получу ордер

на «любой распределитель», то буду безрезультатно ходить по городу до скончания века. Уж не помню, какими чудесами и происками, но получил я ордер именно в этот заветный «распределитель № 1». Одновременно со мной такой же ордер получил человек замечательного и неожиданного вида: это был старик огромного роста, лысый, без шапки, с высоченным посохом, с иконою на груди и — в веригах, которые на нем гремели при всяком движении. Таких классических странников не много случалось мне видеть и в прежние времена. Каким образом он уцелел и через кого получил свой ордер — не представляю себе.

Мы вместе вышли на улицу и вместе отправились в распределитель, который был не что иное, как бывший «Английский магазин» Шанкса на Кузнецком мосту — самый фешенебельный из московских магазинов. Теперь в нем была ледяная пустыня. В витринах ничего не было. В какой-то дальней комнате мы нашли несколько обувных коробок и скучающего приказчика, который со старорежимной вежливостью преклонил пред нами колено. Я снял свои валенки; странник, скинув лапти, принялся разматывать онучи. Выбор был не велик: кроме лакированных полуботинок американской фирмы «Вера», ничего не оставалось. Размеров было лишь два — самый большой и самый маленький. Старик взял большой и ушел, стуча по паркету посохом и лакированными туфлями. Я взял маленькие. Они мне жали, но я про себя уже решил в Петербурге обменять их.

В последний год его жизни случалось Пушкину, выйдя из дому, повернуть налево, пройти по набережной Мойки до Полицейского моста и повернуть налево еще раз, по Невскому. Тут же, в угловом доме с колоннами, принадлежавшем Голландской церкви, находился книжный магазин Фердинанда Беллизара. Впоследствии принадлежал он фирме Мелье, под именем

которой (перейдя уже, впрочем, к третьему владельцу, С. Н. Трофимову) просуществовал до 1918 г. В 1920 г. дом был необитаем. У подъезда его день и ночь толклись папиросники — мальчишки и девчонки, наперебой кричавшие: «А вот, а вот харьковская махорка! А вот, а вот «Ира»! А вот, а вот старая толстая «Сафо»! (Говорят, одна пожилая писательница, проходя мимо, была очень обижена, приняв последнее восклицание на свой счет).

После налетчиков, папиросники были самыми богатыми людьми того времени. В московском цирке ежевечерне заполняли они все ложи и первый ряд. Клоуны Бим и Бом, выходя на арену, отвешивали им поклон: «Именитому московскому купечеству — наше нижайшее!» В Петербурге был у них ночной клуб на Михайловской площади — с ликерами и шампанским. Я жил у Полицейского моста — как раз по диагонали от магазина Мелье. С папиросниками у меня были отличные отношения. Я предложил им туфли, но покупателя не нашел. Мне дали, однако ж, дельный совет: поискать «шкета», то есть малолетнего сутенера. С этой категорией граждан папиросники были тесно связаны: почти все девочки-папиросницы занимались и проституцией. Я отправился на рынок, и действительно, через каких-нибудь четверть часа туфли были мной проданы парню с неслыханно великолепным коком, выбивавшимся из-под каскетки, и в таких широченных «клешах», что издали можно было принять их за юбку.

В последний раз торговал я весной 1922 года.

Раз в неделю я брал холщевый мешок и отправлялся на Миллионную, в Дом Ученых, за писательским пайком. Получающие паек были разбиты на шесть групп — по числу присутственных дней. Мой день был среда. Паек выдавался в подвале, к которому шел длинный коридор; по коридору выстраивалась очередь,

представлявшая собой как бы клуб. Здесь обсуждались академические и писательские дела, назначались свидания. К числу «средников» принадлежали, между прочим, Ю. Н. Тынянов, Б. В. Томашевский, Виктор Шкловский, а из поэтов — Гумилев и Владимир Пяст. Случалось, что какой-нибудь пайковой статьи (чаще всего — масла и сахару) не выдавали по нескольку недель, возмещая ее чем-нибудь другим (увы, подчас, — просто лавровым листом и корицей). Однажды, сильно задолжав перед получателями пайков, Дом Ученых выдал нам сразу по полпуда селедок. Предстояла, следовательно, задача продать селедки и на вырученные деньги купить масла. Дня через два я отправился на Обводный канал. Рынок шумел. Я выбрал место, поставил на землю мешок, приоткрыв его, чтобы виден был мой товар, и стал ждать покупателей. Конечно, надо было бы кричать: «А вот, а вот свежие голландские сельди! А вот они, сельди где!» — или что-нибудь в этом роде. Но я чувствовал, что из этого у меня ничего не выйдет. Меж тем, отсутствие рекламы, сего двигателя торговли, давало себя знать. Люди шли мимо, не останавливаясь. Глядя по сторонам довольно уныло, шагах в двадцати от себя я увидел высокую, стройную женщину, так же молча стоявшую перед таким же мешком. Это была Анна Андреевна Ахматова. Я уже собирался предложить ей торговать вместе, чтобы не скучно было, но тут подошел покупатель, за ним другой, третий — и я расторговался. Селедки мои оказались первоклассными. Чтобы не прикасаться к ним, я предлагал покупателям собственноручно их брать из мешка. Потом руками, с которых стекала какая-то гнусная жидкость, пропитавшая и весь мешок мой, они отсчитывали деньги, которые я с отвращением клал в карман. Несмотря на высокое качество моих селедок, некоторые покупатели (особенно — женщины) капризничали. Еще со времен Книжной Лавки Пи-

сателей я усвоил себе золотое правило торговли, применяемое и в парижских больших магазинах: «Покупатель всегда прав». Поэтому я не спорил, а предлагал недовольным тут же возвращать товар или обменивать, причем заметил, что только что забракованное одним, приходилось как раз по душе другому. Впрочем, должен отметить и другое мое наблюдение: покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг.

Распродав всё и купив масло, я уже не нашел Ахматовой на прежнем месте и пошел домой. День был веселый, солнце уже пригревало, я очень устал, но душа радовалась. Впереди меня шла нарумяненная проститутка, в блестящих туфельках, с папиросой в зубах. На ходу она крепко, ритмически раскачивала тугими бедрами, причем правым как-то особенно поддавала с некоторой задержкой, так что в общем походка ее слагалась в ритмическую фигуру, образуемую анапестом правого бедра и ямбом левого. Идя за нею, невольно в лад сочинил я стихи — как бы от ее имени:

Ходит пес
  Барбос,
Его нос
  Курнос,
Мне вчерась
  Матрос,
Папирос
  Принес.

Так долго мы шли, пока, на каком-то перекрестке, не разошлись пути наши.

1937 г.

«ДОМ ИСКУССТВ»

I

В 1920-1922 годах общество «Старый Петербург» (впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково) переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и так сказать материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться: в них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако, мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, всё острей, всё пронзительней ощущалась членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым — отсюда возникало желание как можно тщательнее сберечь о нем память. Во-вторых (и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге), именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в «Старом Петербурге», отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны — достаточно назвать хотя бы П. П. Вейнера. Но как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастие.

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками, с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдел (к тому времени в нем насчитывалось лишь около семисот тысяч жителей), по улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль, — и оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего нового, — но он утратил всё то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют: так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом.

Эта красота — временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга: там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот еле обозначающийся распад еще был прекрасен, и трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.

В этом великолепном, но странном городе жизнь протекала своеобразно. В смысле административном Петербург стал провинцией. Торговля в нем прекратилась, как всюду. Заводы и фабрики почти не работали, воздух был ясен и пахло морем. Чиновный, торговый, фабричный люд отчасти разъехался, отчасти просто стал менее виден, слышен. Зато жизнь научная, литературная, театральная, художественная про-

ступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Голод и холод не снижали этого подъема, — может быть, даже его поддерживали. Прав был поэт, писавший в те дни:

И мне от голода легко,
И весело от вдохновенья.

Быть может, ничего особенно выдающегося тогда не было создано, но самый пульс литературной жизни был приметно повышен. Надо прибавить к этому, что и общество, у которого революция отняла не мало обывательских навыков и пред которым поставила ряд серьезных вопросов, относилось к литературе с особым, подчеркнутым вниманием. Доклады, лекции, диспуты, вечера прозы и стихов вызывали огромное стечение публики. Между тем, культурная жизнь Петербурга сосредоточивалась вокруг трех центров: «Дома Ученых», «Дома Литераторов» и «Дома Искусств», которые для нее служили прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле, потому что при каждом из них были общежития, где разместились многие люди, сдвинутые революцией с насиженных мест. Каждый из трех «Домов» имел свой особый уклад и быт. Я расскажу о том, который мне был знаком особенно близко и непосредственно — о «Доме Искусств», или о «Диске», как иногда его называли. Рассказ мой коснется, однако, лишь внешних черт его жизни: для изображения внутренних, очень своеобразных, нужна бы иная, вероятно — беллетристическая форма.

Помещался «Диск» в том темнокрасном доме у Полицейского (в старину — Зеленого) моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины XVIII столетия на

этом месте находился деревянный Зимний Дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум — свергать Петра III. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался «Английский магазин», а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это неблагодарно с моей стороны (почему — будет сказано ниже).

Под «Диск» были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно — ход с Морской, со двора, в другое — с Мойки); третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр «Диска». Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам — концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родэна, к которому хозяин питал пристрастие — этих Родэнов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий — переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле — Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. «Куча мала!» — на полу барахталось с полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем:

— А эта вот — наша новенькая студистка, моя подруга.

— А как фамилия?

— Б-ва.

— Да которая же? Тут и не разберешь.

— А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот, видите, нога в желтом ботинке? Это ее нога.

К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином — как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую «Дома Литераторов». Однако, и здесь часов с двух до пяти было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий — деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные — роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них всё, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак — весь состав своего пайка, за исключением сахара, сахар он оставлял себе.

Пройдя из столовой несколько вглубь, мимо буфетной, и свернув направо, попадали в ту часть «Диска», куда посторонним вход был воспрещен: в коридор, по обеим сторонам которого шли комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил кн. С. Ухтомский, один из хранителей Музея Александра III, немного угрюмый с виду, но обаятельный человек, впоследствии арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым; жил пушистый седой старик Липгардт, говоривший всегда по-французски, историк искусства, известный великой щедростью по части выдачи «сертификатов» на старинные картины. Ходил анекдот о том, как некто, владелец какого-то очередного шедевра, просил Липгардта удостоверить, что картина принадлежит кисти Греко. «Ну, зачем Греко? — будто бы сказал Липгардт, — это же дутая величина! Уж давайте, я вам напишу, что это Тициан!»

Из своей комнаты в кухню и обратно то и дело с кастрюлечкой шмыгала маленькая старушка — М. А.

Врубель, сестра художника. Соседкой ее была Е. П. Леткова-Султанова, свояченица К. Е. Маковского, в молодости знавшая Тургенева, Достоевского, сама писавшая в «Русском Богатстве». Жил еще в том же коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением. Центральное отопление не действовало, а топить индивидуальную буржуйку сырыми петросоветскими дровами (по большей части еловыми) он не умел. Погибал от стужи. Иногда целыми днями лежал у себя на кровати в шубе, в огромных калошах и в меховой шапке, которой прикрывал стынущую лысину. Над ним по стенам и по потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и гирляндами — эта комната была некогда спальней г-жи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню, вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых, умным и добрым человеком. Беседы, однако же, прерывались долгими паузами, и тогда в кухне слышалось только глухое, частое топотание копыт: это ходил по кафельному полу поросенок — воспитанник Ефима.

Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского — единственного молодого обитателя этой части «Диска». Здесь была постоянная толчея. В редкий день не побывали здесь — Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, Николай Никитин, безвременно погибший Лев Лунц и семнадцатилетний поклонннник Т. А. Гофмана — начинающий беллетрист Веньямин Каверин. Тут была колыбель «Серапионовых братьев», только еще мечтавших выпустить первый свой альманах. Тут происходили порою закрытые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть — на кровати хозяина, прочие — на полу. От курева нельзя

было продохнуть. Сюда же в дни дисковских маскарадов и балов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же, на трех стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой.

Комната Волынского потому еще была холодна в особенности, что она примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги в ней были холодны, как железо на морозе. Однако, их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели «Диска» порой могли наводить нужные справки, не выходя из дому.

Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение, которые трудно оценить в достаточной мере. Записываться на ванну надо было у Ефима, и ждать очереди приходилось долго, но зато очутиться, наконец, в ней и смотреть, как вокруг, по изразцовой стене, над изсиня-черным морем с белыми гребнями носятся чайки — блаженства этого не опишешь!

Раз в неделю приходил парикмахер, раскидывавший свою палатку в той же ванной, и тогда тотчас образовывался маленький клуб из бреющихся, стригущихся и ожидающих очереди. Пришел парикмахер и в самый тот день, когда начался штурм Кронштадта. Георгий Иванов, окутанный белым покрывалом, предсказывал близкий конец большевиков. Я ему возражал. Прибежала молодая поэтесса Ирина Одоевцева, на тоненьких каблучках, с черным огромным бантом в красновато-золотых волосах. Повертелась, пострекотала, грассируя, — и убежала, пообещав подарить мне кольд-крему. Кольд-крема этого, впрочем, я и по сей день не дождался... О, люди!

II

Пройдя через кухню и спустившись этажа на два по чугунной винтовой лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая стена коридора была глухая, а в левой имелось четыре двери. За каждой дверью — узкая комната в одно окно, находящееся на уровне тесного, мрачного колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться с полуподвальной сыростью, и в теплом, но спертом воздухе висел пар. Всё это напоминало те зимние помещения, которые в зоологических садах устраиваются для обезьян. Коридор так и звался «обезьянником». Первую комнату занимал Лев Лунц — вероятно, она-то отчасти и сгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, ведший бесконечную и безнадежную тяжбу с заправилами «Диска», не водивший знакомства почти ни с кем, и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов. Последнюю комнату занимал поэт Всеволод Рождественский, в ту пору — скромный ученик Гумилева.

Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых любил Блок. Пяст и был Блоку верным и благородным другом в течение многих лет. Главным несчастием его жизни были припадки душевной болезни,

время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском Острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паек и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым, несколько «дантовским» профилем (высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок), носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем «пястов». На ногах — прикрученные веревками остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда слышно было за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своею печуркой, а впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимый морозом, голодом и тоской, до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по «Дому искусств», порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябр, и голосом, отдававшемся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении, совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские «нотабли». В нем было тепло, но оно было рядом с комнатою Султановой и поблизости от комнаты Волынско-

го. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено «помещение» запирать, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чём дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему «Диску», по двору, выбежал на Морскую, пробежал по Невскому на угол Мойки и взлетев на третий этаж очутился там, где жил я. С хлопаньем дверей, с грохотом, остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал:

— Окаянные! Что они со мной сделали! Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле — отняли, заперли! О, проклятые!

Та часть «Дома искусств», где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывезти из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: банально, но импозантно, и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Е. В. Щекотихина (впоследствии уехавшая заграницу, здесь вышедшая замуж за И. Я. Билибина и вновь увезенная им в советскую Россию), была совершенно круглая, без единого угла, — окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната М. Л. Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский

экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т. д. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставлявшего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паек, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато, в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял:

— Ну, а теперь будем ужинать!

Соседями нашими были: художник Милашевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем «пясты», и столь же гусарским успехом у прекрасного пола; поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила — вкривь и вкось — одному Богу ведомо из каких материалов, а также О. Д. Форш, начавшая литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием, страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни: нашептавшись «о последнем» с Ивановым-Разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга — к Андрею Белому, от Андрея Белого — ко мне, и всё это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных — с сектантами, сектантов — друг с другом. В особенности любила всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к т. н. «живой церкви».

— Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по Блоке, а потом вышел на амвон, да как грохнет:

Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, аи!

Это с амвона-то! Вы подумайте! Ха-ха-ха, ну и прелесть!

Достоинством нашего коридора было то, что в нем не было центрального отопления: в комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени, державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Правда, растапливать их сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени, в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было какое-то неслыханное количество. Регистраторы эти служили чудесной растопкой, как и переплеты столь же бесчисленных копировальных книг. Папиросная же бумага, из которой эти книги состояли, шла на кручение папирос. Этой бумагой «Диск» снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же порой можно было выменять пакетик махорки у мальчишек и девчонок, торговавших на Невском. Один листок этой бумаги сохранился у меня по сей день.

С этими маленькими торговцами (предшественниками будущих беспризорников, которых я не застал и не видел) связано у меня одно воспоминание, не столь идиллическое. Как я уже говорил, во дворе елисеевского дома некогда находились еще одни меблированные комнаты. Их помещение тоже принадлежало «Диску», но им почти не пользовались по той причине, что оно уже было кем-то разгромлено и загажено. По человеческой жестокости поселили там одну старую, тяжело больную хористку Мариинского театра. Она день и ночь лежала в своей конуре, под грудой тряпья,

ожидая смерти. Ей по очереди носили еду. Весной 1921 г. приехал в Петербург из Казани поэт Тиняков, начавший литературную деятельность еще лет восемнадцать тому назад, но давно спившийся и загрязнивший себя многими непохвальными делами. Ходили слухи, что в Казани он работал в чрезвычайке. Как бы то ни было, появился он без гроша денег и без пайка. Голодал начисто. Не без труда удалось устроить его соседом к умирающей певице. Вскоре он сумел пустить корни (опять по сомнительной части), раздобылся деньжонками и стал пить. Девочки, торговавшие папиросами, почти все занимались проституцией. По ночам он водил их к себе. Его кровать тонкой перегородкой в одну доску, да и то со щелями, с которых сползли обои, отделялась от кровати, на которой спала старуха. Она стонала и охала, Тиняков же стучал кулаком в стену, крича:

— Заткнись, старая ведьма, мешаешь! Заткнись, тебе говорю, а то вот сейчас приду и тебя задушу...

Прежде чем закончить этот очерк, вернемся еще раз в елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах и как бы выпадающих из основного плана. Так, из главного коридора шла деревянная винтовая лестница в верхний этаж. Поднявшись по ней и миновав нечто в роде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладельцев, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже коридора, в просторной, но несколько мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила бар. В. И. Икскуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой — по большей части воспоминаниями о своей долгой и хорошо наполненной событиями жизни. Не раз я ее уговаривал записать или продиктовать хоть отрывки, но она только махала рукой и отмалчивалась с горьковатой улыбкой. В противополож-

ном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая, холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый, седобородый марксист Лев Дейч. Мариэтта была глуха. С Дейчем сиживали они, тесно сдвинув два стула и накрывшись одним красным байковым одеялом. «Я его учу символизму, а он меня — марксизму», — говорила Мариэтта. Кажется, уроки Дейча оказались более действительны.

Так жил «Дом искусств». Разумеется, как всякое «общежитие», не чужд он был своих мелких сенсаций и дел, порой даже небольших склок и сплетен, но в общем жизнь была очень достойная, внутренне благородная, главное же — как я уже говорил — проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга — подышать его чистым воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах — некоторые видны были с самой Фонтанки — и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье.

За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года.

1939 г.

ВО ПСКОВЕ

Сократив пассажирское движение на советских железных дорогах, в СССР отчасти воскресили стиль эпохи военного коммунизма и начала нэпа. Железнодорожный билет стал вновь драгоценной редкостью, а в вагонах опять создалась та самая обстановка, которую покойный поэт Константин Вагинов запечатлел в стихотворении, начинавшемся со стиха:

У каждого во рту нога соседа.

Во время военного коммунизма население было прикреплено к земле. В каждом отдельном случае поездка по железной дороге должна была быть обоснована действительной надобностью. Легальных надобностей у советского гражданина было не много: торговля была запрещена, семейные отношения упразднены. Другими словами, ездить разрешалось только по казенным делам, то есть по командировкам. Чтобы получить билет, требовалось добыть командировку. Командировки и добывались — по протекции либо за деньги. Кто не добыл командировки, должен был ехать зайцем — под скамейкой, на крыше, на буфере, а то так и на осях под вагоном.

Кроме простых командировок, обрекавших человека на езду в «бесклассовом», то есть загаженном, вшивом и переполненном вагоне, существовали командировки привилегированные: в вагоне международного общества. В 1919-1920 г. заведовал я московским отделом издательства «Всемирная Лите-

ратура», которого центр находился в Петербурге. Поэтому я обладал правом выдавать командировки сотрудникам. Виза, поставленная Енукидзе, превращала мою командировку в привилегированную. Немалое количество литераторов и профессоров проехало по ним не только в Петербург, но и в другие города. Переводчиков Кальдерона и Ламартина отправлял я в Орел или Харьков «по делам службы». В международном вагоне ехал я и сам в Петербург, причем имел немало случаев наблюдать высокопоставленных спутников. Никогда не забуду одного круглолицего, румяного парня, лет семнадцати. До революции он подавал чай и носил бумаги из этажа в этаж в частном банке. После революции занял «пост» в наркомфине. На нём была умопомрачительная шуба на ильковом меху с бобровым воротником, новый костюм, от которого рябило в глазах, лаково-прюнелевые штиблеты, шелковые носки. Из новенького кожаного чемодана вынул он пунцовое атласное одеяло, стёганое, с пододеяльником, обшитым широкими кружевами, которые так и пенились. По углам были огромные банты из красных лент. Ложась спать, обрызгался он духами и благоухал, и храпел, и его румяная морда презабавно выглядывала из кружев.

Переселившись в Петербург, я лишился власти и сделался простым смертным. Поэтому, когда летом 1921 года вздумал я поехать на отдых в деревню, расположенную возле города Порхова, то пришлось мне раздобывать командировку для себя, для жены и для тринадцатилетнего моего пасынка. После двухнедельных мытарств я получил командировку и билеты, но о международном вагоне и о плацкарте мечтать уже, разумеется, не приходилось. Как бы то ни было, в жаркий августовский день явились мы на Варшавский вокзал. Ехать надо было до Пскова, а там пересесть на Порхов. Багаж у нас был громоздкий: одежда, постельное бельё, подушки, одеяла, книги, а главное —

груда товаров для меновой торговли с туземцами, ибо деньги не стоили ничего. На вокзал мы прибыли часа за два до поезда — неизвестно, как и когда будут сажать в вагоны. Сидели на вещах в зале третьего класса. Потом началась посадка —буря и натиск, вой, улюлюканье, поднятые кулаки, сундуки в воздухе, звон разбиваемых стёкол. Потом все-таки очутились в вагоне — человек по шести на короткой скамье. Потом поезд тронулся — нельзя сказать, чтобы «замелькали станции»: мы тащились медленно, в одуряющей жаре, в жажде, в зловонии, полагаясь на Провидение и на шарики из нафталина и камфары, рассованные по всем карманам, зашитые в ладанки на груди — в защиту от вшей (впоследствии я узнал, что вши очень любят садиться на эти шарики)

В вагон мы попали, конечно, не первыми. Верхние места были уже заняты. Чьи-то ноги порой свешивались к носам нашим. Против нас на верхней скамье расположилась бойкая девка, которой доставляло большое удовольствие обнаруживать полное отсутствие исподней одежды. Пока не стемнело, я старался обращать внимание пасынка на иные картины природы,— на те, что нам медленно развертывались за окном. Потом нас укачало, и началась сонная одурь, онемение рук и ног. Потом рассвело, и мы стали подъезжать ко Пскову.

Поезд наш опоздал на час. «Согласованный» с нами поезд на Порхов ушел за десять минут до нашего прибытия. Спрашиваем, когда идет следующий, и получаем ответ: **послезавтра в это же время.** Известие ошеломляющее — нам предстоит прожить двое суток во Пскове. Сдаем вещи на хранение и тут же узнаем, что наши билеты надо «прокомпостировать», т.е. сделать на них отметку об остановке. Перед кассою очередь. Добравшись до окошечка, узнаю новость совсем уже потрясающую: билеты наши вообще на

послезавтра недействительны, и надо брать новые, которые по командировке петербургской не могут быть выданы,— нужна командировка от псковского совдепа. Отправляюсь в совдеп, но железнодорожный отдел, оказывается, сегодня не работает: приходите завтра.

Отправляемся в город искать прибежища на двое суток. Не тут-то было: в гостинице для получения комнаты нужна бумага от жилищного отдела. Снова иду в совдеп. Там надо мною смеются: где же это видано, чтобы проезжающим отводились комнаты? Чтобы получить комнату, надо быть постоянным жителем города, иметь в нём службу. Начинаю расспрашивать жителей, не сдаются ли у кого комнаты. На меня смотрят с опаскою, потому что я подбиваю на преступление: сдавать комнаты без разрешения совдепа запрещено. За это людей сажают в тюрьму...

Прослонявшись часа полтора по улицам, вздумал я искать помощи у собратьев по перу. Разыскал редакцию местной газеты, но в сей ранний час ничего не нашел там, кроме гранок, мух, сора и сторожихи. Мы возвратились к вокзалу. Невдалеке от него, не то на вытоптанном лугу, не то на поросшей травою площади, уже раскинулся жалкий табор таких же застрявших пассажиров, как мы. Среди сундуков, баулов, мешков и всякой рвани мы легли на траву, стали ждать.

Часа в три я снова пошел в редакцию,где решил действовать страхом. Развернув перед секретарем целый веер всевозможных удостоверений с печатями и без печатей, я повел себя грозным начальством и потребовал, чтобы комната мне была найдена. Несчастный секретарь перетрусил и вызвал на совещание репортера. Они долго шептались, куда-то уходили, и издали я слышал хруст вращаемого телефонного

звонка,— наконец, секретарь вернулся и объявил, что в жилищном отделе толку не добьёшся, и уже лучше мне прожить эти два дня у репортера, который располагает в гостинице двумя комнатами. Я взял репортерский адрес и снова побрёл к вокзалу, за своими спутниками.

Было уже часа четыре, стоял зной, и тогда начались поиски пищи и питья. В ларьке у вокзала продали нам бутылку клюквенного кваса — лиловой жидкости, до такой степени просахариненной, что от неё тотчас же свело рот, а жажда сделалась нестерпимой.

Еды достать было негде. Базары были пусты, а в казенные лавки и заходить не стоило: без карточек ничего бы не дали. Так, без пристаниища, изнемогая от жары, скитались мы часов до восьми вечера. Думаю, что за этот день я сделал по Пскову верст двадцать. В голове стоял такой туман, что города я не заметил. Помню только, что раза четыре переходил через реку по высокому мосту. Мы насилу держались на ногах и чувствовали, что ещё немного — и с нами начнутся обмороки. Меж тем предстоял второй день голодовки, хождение в совдеп, добывание билетов, потом езда в поезде и на лошадях. Только послезавтра к вечеру предстояло добраться до Бельского Устья, и мы понимали, что сил на это не хватит. И вдруг нам сказали, что в городском саду есть буфет — очевидно, одна из первых ласточек нэпа.

Действительно, в тенистой аллее на террасе стояло несколько столиков, покрытых чистыми скатертями. Старик-лакей в поношенном смокинге и пожелтевшей манишке подал нам карточку. В ней значилось: суп, отбивные котлеты, чай. Кроме нас, в ресторане никого не было, да и вообще сад был пуст. Мы набросились на еду, но не в ней одной было наслаждение. Мы душой отдыхали, на час получив возможность не притворяться, не лгать, не изворачиваться. Было почти умилительно сознавать, что с лакеем нас связывают глубоко

человеческие, издревле священные отношения купли и продажи. Мы просидели в ресторане до темноты — кроме нас никто больше не заходил.

Потом мы отправились ночевать.«Аппартамент» хроникёра состоял из двух комнат. В задней жил он сам. Передняя, проходная, была предоставлена нам. В ней имелись: кровать с пружинным матрацем и грязным тюфяком и кушетка, обитая сальной, грязной материей. Пахло затхлостью. Не было ни стола, ни стула, ни умывальника. Не было ни электрической лампочки, ни свечи. При свете карманной зажигалки мы улеглись, не раздеваясь: кто на кровати, кто на полу, подстелив тюфяк, а кто на кушетке. Мы тотчас уснули — и в середине ночи проснулись. Клопы ползли по нас в невообразимом количестве. На утро лица и руки у нас были красны от укусов, точно покрыты сыпью. Тогда же выяснилось, что в комнате пол покрыт пылью чуть не на сантиметр. Видимо, его не мели много месяцев. При ходьбе на нем отпечатывались следы.

В совдепе встретил меня толстый тип с седыми подусниками. Просмотрев мои бумаги, он объявил, что так как я должен выполнить командировку, то меня он отправляет в Порхов, но жене моей и пасынку там делать нечего.

— Куда же им деваться? — спрашиваю.

— Это меня не касается.

— Тогда выдайте нам обратные билеты в Петербург.

— Не могу, потому что вы обязаны ехать в Порхов, куда вы командированы.

— Ну, тогда хоть жене и мальчику дайте билеты до Петербурга.

— Не имею права.

— Значит, я должен ехать в Порхов, а они — оставаться в Пскове?

— Выходит, что так.

— До каких же пор?

— Ни до каких пор, а пущай тут остаются.

— Помилуйте, что же они тут будут делать?

Мне уже как-то зараз и смешно, и жутко, а тип отвечает невозмутимо:

— Ваша жена может поступить на службу.

— Но ведь получается, что вы меня с ней разводите? Что ж у вас тут: железнодорожный отдел или духовная консистория?

Тип сгребает мои бумаги, протягивает их мне и говорит:

— За неуместные шутки я и вам билета не выдам. Оставайтесь, как знаете.

Отправляюсь к председателю совдепа — жаловаться.Жду его часа полтора, объясняю, в чем дело. Он берет телефонную трубку и, не смущаясь моим присутствием, обзывает моего недруга дураком. Я снова иду в железнодорожный отдел и от милейшего, любезнейшего, предупредительнейшего типа с подусниками узнаю, что, оказывается, просто он пошутил. Командировки уже готовы, на вокзале выдадут мне билеты.

Еще целый день скитаний по городу, блаженный обед в городском саду, лежание на траве у вокзала. Но близится ночь, и мы решаем, что вторично ночевать с клопами нельзя. Отправляемся на вокзал, я даю взятку носильщику, и он, уже в темноте, ведет нас на запасные пути к порожнему составу. Мы забираемся в вагон. Носильщик предупреждает, что если нас накроет Орточека (жел. дор. отдел Чеки), то будут большие неприятности. Советует не зажигать огня и не разговаривать громко. Мы ложимся на скамьи, засыпаем — и просыпаемся от шагов в коридоре. Перед нами стоят два человека в кожаных куртках, с

наганами. Один из них поднимает фонарь и подносит его к моему лицу.

Объяснение, затем последовавшее, могло кончиться плохо. Выручила случайность, довольно нелепая. Среди бесчисленных бумажек с печатями и подписями, которыми я запасся, отправляясь в путешествие, была одна, подписанная Максимом Горьким. В ней было сказано, что всякому начальству рекомендуется оказывать мне всяческое содействие, так как я весьма вообще замечательный человек. В Петербурге такие бумаги имели довольно большую силу. Во Пскове подпись Горького тоже мне помогла, но совсем неожиданным образом. Чекистов, как сказано, было двое.

Один — помоложе, худой, обозленный. Другой — постарше, веселый и смешливый парень. Увидав подпись Горького, они мне объявили, что бумага подложная, а я дурак, потому что Максим Горький — не человек, а поезд, а человек такой если и был когда, так давно уже помер. Несмотря на серьёзность положения, я все-таки засмеялся. Тогда и смешливый чекист тоже стал хохотать. Сцена выходила самая фантастическая. Хохотали мы долго, глядя друг на друга — и смех нас каким-то таинственным образом сблизил. Пошли шутки, и в конце концов дело обернулось так, что я, разумеется, враль, но занятный парень и не Бог весть какой преступник, и хотя никакого Горького нет,— на этот счет двух мнений не может быть,— но почему бы меня не оставить в вагоне? На том мы и порешили, при чем тот чекист, который позлее, сказал:

— Ну, вот что: мне все равно дежурить. Так уж я тут у вас посижу до смены, а то другие придут — вас арестуют.

Мы снова улеглись, а чекист сел на ступеньках вагона, закурил папиросу и сторожил мой сон до утра.

Утром в наш поезд вломилась толпа пассажиров. Наконец, тронулись и без приключений доехали до Порхова. К вечеру мы добрались до Бельского Устья.

ПОЕЗДКА В ПОРХОВ

Я читаю все «толстые» советские журналы, нередко вижу газеты, и в общем могу сказать, что нынешний быт СССР мне знаком. Однако, мне не совсем ясно, сохранилась ли еще там характернейшая особенность эпохи до-нэповской, а затем и нэповской: тот нелепый порядок, при котором решительно все люди, как правящие, так и управляемые, заняты были не своим делом, а если иногда и своим, то в столь бессмысленных условиях, что дело превращалось в толчение воды. Отсюда возникла вторая особенность эпохи — глубочайшая ложь и притворство, которыми она была пропитана, вечный «камуфляж», без которого нельзя было ступить шагу. Думаю, что и теперь там продолжается все то же самое, изменилась разве только окраска. Суждение мое основывается, впрочем, не на литературном материале, а на газетном. В литературе всеобщая чепуха и всеобщая ложь сказываются слабо, потому что это — самое уязвимое место советского порядка и о нем нельзя даже намекнуть. Беллетристы о нем помалкивают, как молчали и в те времена, когда я еще жил в Советской Росии. Возможно и то, что теперь смешную и грустную чепуху тамошнего уклада менее замечают: одни к ней привыкли, другие в ней выросли. В «мое» время люди от неё сильно страдали, утешаясь лишь тем, что она давала не мало поводов для остроумия и злорадства. Недаром предмет чуть ли не всех советских анекдотов — обывательское притворство. Об одном из самых

нелепых дней моей подсоветской жизни мне хочется рассказать.

Я прожил полтора года в писательском общежитии при петербургском «Доме Искусств», который сам по себе представлял классический образец камуфляжа, но о котором сейчас говорить не буду: это тема особая. В 1921 году один член правления, Бог весть какими путями, добился устройства летней колонии для измученных и отощавших литераторов: был он человек многосемейный, детям в особенности надо было прокормиться. Колония помещалась в Порховском уезде, Псковской губ.; местный совдеп отвел под неё чьё-то пустующее поместье с полуразрушенным барским домом. Жили там совершенными Робинзонами. В доме было комнат двенадцать — только в трех сохранились оконные стекла. Кроватей было всего три. Спали на полу, на сене. Одна почтенная писательница, в которую, говорят был влюблен Тургенев, устроилась в выдвинутом ящике большого комода. Был диван, было несколько столов и стульев. Было несколько мягких кресел, с которых обивка была сорвана и пошла на туалеты местных прелестниц, так что семья одного мужика представляла собою как бы разбежавшуюся голубую гостиную, а семья другого — гостиную розовую. Из какого-то склада выдали нам посуду,— но мне не поверят, если я скажу, какие именно сосуды были присланы в качестве суповых мисок и кувшинов для молока. Хотя сосуды были прямо из магазина — они вызывали такие скучные ассоциации, что ими никто не пользовался. Советских денег деревенское население не принимало. Будучи об этом заранее осведомлены, колонисты привезли с собой предметы для товарообмена: скатерти, из которых шились портки и рубахи, салфетки, которыми бабы повязывали головы, а также одеколон, румяна и пудру. За скатерть можно было получить двухмесячный абонемент на молоко, за кусок мыла — курицу и

десяток яиц, за бутылку одеколона — мешок муки. В ход пошли и одежды: покойный поэт Пяст, друг Блока, при мне выменял свои знаменитые на весь Петербург клетчатые штаны на два пуда муки. В общем, мы стали недурными торговцами. На бывшей стеклянной веранде, превращенной в универсальный магазин, по целым дням толклись мужики и бабы. Питались мы очень недурно. Кто-то выменял граммофон на барана.

Казалось бы: дали людям подышать воздухом и поесть — и хорошо. Но не тут-то было: продавать румяна деревенским девкам надобно не иначе, как под прикрытием из высоких лозунгов и культурных «заданий». Билеты на проезд до Порхова выдавались не иначе, как по командировкам. Нужно было проделать фантастическое количество формальностей в таком же количестве петербургских и порховских учреждений, чтобы эти командировки получить, и в этом было немало трагикоммического. Факт тот, что в Бельском Устье (так называлось имение) очутился я в качестве спеца, командированного на предмет чтения лекций по поэтике в литературной студии при отделе народного образования (Наробразе) Порховского совета. Что происходило в студии, никому не было известно. Читать в ней лекции я не собирался — хотя бы уже потому, что колония наша находилась в пятнадцати верстах от города, а способов передвижения почти не было. Однако, одну лекцию, «показательную», надобно было прочесть для того, чтобы Наробраз засвидетельствовал, что моя командировка исполнена: без такого свидетельства, с печатями и подписями, не мог бы я получить обратный билет до Петербурга. Словом, лекцию мою назначили на какой-то день в конце августа, в семь часов вечера. Дату я выбрал с таким расчетом, чтобы попасть в Порхов в базарный день: мне нужно было возобновить

запас махорки. Как водится, колонисты мне надавали поручений — тоже махорочного порядка или в этом роде. Чтобы поспеть на базар, надо было выехать утром. После некоторых хлопот раздобыл я себе беду. О беде позволю себе сделать специальное отступление.

— Беда! — восклицает псковский мужик, желая поведать о постигшем его несчастьи. Когда же идет речь о классическом псковском экипаже, он явственно произносит: бида. Отсюда я заключаю, что эти два слова надо бы и писать по-разному: в первом случае — через «е»: беда, а во втором — бида. Однако, буду писать его всегда через «е» — из уважения к словарю Даля, который не делает различия между несчастием и экипажем. Быть может, тут дело и впрямь идет лишь о двух значениях, даже о двух применениях одного и того же слова: ибо езда на беде есть истинная беда.

За два месяца, прожитых в Порховском уезде, не видел я никакого другого экипажа, кроме беды. На беде пскович возит и навоз, и сено, и хлеб, и дрова, из бед составляются свадебные поезда, на беде везут и покойника к месту его последнего упокоения. Происхождением своим беда, несомненно, обязана бездорожью. Её преимущество заключается в том, что у неё всего два колеса. По развороченным колеям и колдобинам Порховского уезда ныряет она не в пример свободнее, чем ныряла бы на её месте обыкновенная телега о четырех колесах. Лошади от того много легче, а седоку все равно. Однако, беда имеет и свои недостатки — не малые.

Представляет она собою узкий полок или настил, положенный прямо над осью, между двумя колёсами. Своеобразие же её, имеющее важные технические и эстетические последствия, заключаются в устройстве оглобель. Для каждой из них выбирается целое деревцо или даже дерево, у которого нижний сук,

самый толстый, отходит от ствола под прямым углом. Кроме того, этот сук в верхней части своей должен иметь загиб в сторону. Верхняя часть дерева (выше сука) отрубается прочь, а нижняя постепенно отёсывается, так что ствол утоншается в противоестественном направлении — сверху вниз, а не снизу вверх, как у живого дерева. Вместе с загнутым суком получатеся нечто в роде печатной буквы Г, у которой конец верхней горизонтальной палочки не загнулся бы вниз, как вы видите здесь, а отделился бы от бумаги и торчал бы в глаза читателю. Обе такие оглобли прибиваются по сторонам полка в одной плоскости с ним. Нижняя отёсанная часть дерева уходит вперед, к лошадиной шее, а верхняя пригоняется так, чтобы её загиб, бывший сук, пришелся наравне с задним краем полка и поднимался бы под прямым углом вверх. При этом оглобли выбираются или размещаются так, чтобы вторые загибы, короткие и отточенные, как бычачьи рога, были отвернуты в разные стороны, один налево, а другой направо. От этого задний конец беды получает форму лиры, а весь экипаж — несомненное своеобразие и некое дикое изящество.

Лира устроена не с эстетической, а с практической целью. Дело в том, что колёса — вещь дорогая. Чем меньше они, тем дешевле. Колёса беды не больше задних колес обыкновенной телеги. Вследствие этого ось приходится ближе от земли, гораздо ближе, чем передний конец оглобли. Таким образом, оглобли у беды спускаются вниз чуть ли не под тем же углом, как у саней, а так как они находятся с полком в одной плоскости, то и весь полок оказывается расположен не параллельно земле, а весьма покато: его задний край лежит значительно ниже переднего. Вот тут-то и начинается спасительная роль рогов: кладь в них упирается и потому не сползает с беды прочь. Но это преимущество касается только клади. Ездоку же, если он едет порожнем, приходится сидеть на беде по-

турецки, поджав ноги и непрестанно сползая назад. На то и уходит время его, что он ерзает по полку: то съезжая назад по неумолимым законам природы, то стараясь взобраться повыше, чтобы затем начать сползать сызнова. При этом он должен стараться ни рукой, ни ногой не попасть в колёса, которые вращаются у него справа и слева не далеко от локтей. Конечно, можно было бы намотать веревку между рогами и устроить нечто вроде спинки, но, прислонясь к ней, седок окажется настолько ниже лошадиного крупа, что дорога окажется от него совершенно закрыта, и он не сможет править. Правда, в розвальнях ездок тоже находится очень низко, но в розвальнях он ездит либо стоймя, либо устраивает себе нечто вроде облучка. На беде все это невозможно, потому что её трясет и раскачивает не так, как розвальни. Словом, езда на беде — беда.

Чтобы застать базар, я выехал часов в десять утра по советскому времени, то есть в шесть часов — по настоящему. Солнце вставало розовое, было ещё прохладно. Дорога от Бельского Устья до Порхова довольно живописна. Часть пути надо ехать по низкому берегу реки, поросшему кустарником. За кустами виднеется медленная, синяя вода, а за нею — высокий берег, по которому спускаются вниз темносиние ели. Отходя от реки, дорога пересекает холмистые поля, разграфленные черными, желтыми и зелеными квадратами. Путешествие было бы приятно, если бы ехать не на беде и если бы в беду не был запряжен средних лет мерин, розовогубый, белый, покрытый какими-то бестолковыми черными крапинами. Теперь, конечно, его уже нет на свете, и я постараюсь не говорить о нем дурно. Несомненно, он родился с отличнейшими задатками, но они были испорчены плохим воспитанием. Упрямство и приверженность к ложным традициям составляли главное его свойство. Сколько ни понукал я его итти по колее,— он делал по-

своему, то есть шел между колеями, в которых беда то и дело проваливалась по ступицу. От этого меня валило со стороны на сторону, но это было еще не главное несчастье. Главное состояло в том, что с горы мой конь мчался глупейшим галопом, а в гору тащился как черепаха. Изменить его аллюры не было никакой возможности.

Когда мы летели вниз, это было еще туда-сюда, потому что передняя часть беды опускалась, а задняя подымалась, и вся она принимала горизонтальное положение. Но когда мы ползли наверх, передний конец поднимался еще более, чем обычно, а задний еще более опускался. Ноги мои оказывались чуть ли не выше головы, я безнадежно сползал назад, и, стараясь вскарабкаться вновь повыше, являл собою как бы Сизифа и его камень в одном лице, или, иначе сказать, был сам себе Сизиф и сам себе камень. Версты за три до Порхова надо было переезжать вброд небольшую речку, шириной всего саженей в десять, но приближение к ней наполнило душу мою тревогой. И не напрасно. С глинистого крутого берега слетели мы вихрем, лихо повернули влево, и со всего размаху плюхнулись в воду. Беда вертела колёсами, как пароход, и вода захлестнула всю заднюю половину её: только каким-то чудом успел я к этому мигу переползти вперед и благодаря этому сам не очутился в воде. Посередине речки мы вдруг остановились, стали махать хвостом и пить вопреки всем правилам гигиены. Потом выползли на противоположный берег и прежним манером поехали к Порхову. Наконец, вдали показался город. Я, остановив коня, свернул папиросу, закурил и принял независимый вид. В город мы въехали чинно, шагом, стараясь, чтобы прохожие не догадались о досадах и недоразумениях, возникших между нами за три часа пути.

Приближаясь к базарной площади, я был смущен подозрительной тишиной. Подъехав, увидел я ряд

заколоченных ларьков и узнал, что с этой недели расписание торговых дней изменено государственной властью. Базар будет завтра. Это известие спутало все мои расчеты и планы. Прежде всего, выходило, что я должен ради своих покупок остаться в городе до завтра. Но где ночевать? Во-вторых,— где и чем питаться? О порховском базаре я был наслышан самым лестным для него образом: рассказывали, что на нем не только продают молоко, масло и хлеб, но пекут лепешки и даже жарят котлеты — свиные и бараньи. Теперь оказывалось, что всё это я могу получить только завтра, а есть мне хотелось уже — и очень. К тому же езда на беде меня измучила. Надо было немедленно подкрепляться. Я стал спрашивать у прохожих, нельзя ли добыть какой-нибудь пищи. Одни смотрели на меня с изумлением, другие сочувственно, третьи насмешливо, но никакого совета не дал никто. Вдруг я увидел женщину, возникшую у ларька: она что-то там приколачивала, неловко колотя по гвоздю камнем.

Я подъехал к ней. Это была старая, горбатая, горбоносая еврейка. Оглядевшись по сторонам, она шепотом велела отъехать в сторону и заметить ворота, в которые она войдет. Через четверть часа я должен подойти к калитке, но не стучать — она будет открыта. Все эти предосторожности делались для того, чтобы никто не узнал и не донес, что старуха торгует на дому. Выждав время, я проник в таинственное убежище, как Дон Жуан в дом Командора. Кстати, и моя Донна Анна оказалась вдовой. Пока я пил молоко и пожирал ломти свежего чёрного хлеба, она рассказала мне свою биографию. Её муж умер лет десять тому назад, сын, вдовец, служит на железной дороге; она ведет хозяйство, присматривает за внуками (мальчик лет десяти и девочка лет шести тут же вертелись), и «немножко» торгует на базаре, потому что «ведь надо кушать». Она говорила нараспев, с

ноющими, бесконечно скорбными интонациями, точно все время прося прощения, и выговаривала слова с ужасающим еврейским произношением. Повидимому, некогда в доме был достаток. Комната, где мы сидели, была просторна и опрятна. Дубовая бесвкусная мебель составляла её убранство. Вдоль одной стены тянулась длинная полка, на которой стояло около пятидесяти толстых старинных книг одинакового формата в переплетах из свиной кожи. Книги принадлежали покойному мужу моей хозяйки — сын её по-еврейски уже не читает. Рассказав о себе, пожелала она узнать и обо мне — есть ли у меня «шлюзьба», а главное — есть ли «зена» и «зети». Она не хотела взять с меня деньги, говоря:

— Если не на базаре, то вы зе узе мой гость!

Наконец я все-таки ей всучил какие-то бумажки, которые она сунула в карман пестрой юбки, не считая и улыбаясь не то смущенно, не то презрительно. Я провел у неё больше часу. Пора было итти в Наробраз — визировать командировку и узнать, где находится помещение, в котором я буду читать лекцию. От усталости и езды меня разморило. На улице начинался зной. Мне не хотелось уходить от простой, умной и доброй женщины. Я предчувствовал, что теперь предстоит провести несколько часов с идиотами.

Я отвязал лошадь от фонаря, взгромоздился опять на беду и загремел по улицам Порхова. Город оказался довольно приятен. Разноцветные крыши и обилие садиков придавали ему вид почти нарядный. Я колесил по нему долго, ибо никто мне не мог указать, где находится отдел народного образования. Население явно не знало даже о том, что он вообще существует. «О, слепота неблагодарного человечества, привыкшего неглижировать теми, кои в тишине и безвестности пекутся о его счастии!» Так или в этом

роде воскликнул бы на моем месте философически настроенный путешественник XУIII столетия. Отыскав, наконец, Наробраз, помещавшийся в запущенном строении казенного типа, я застал его в ту самую минуту, когда коллегия заседала. Я не обинуясь заявил о скромной цели своего прихода — о желании получить отметку о выполнении командировки и узнать, где назначена моя лекция. Все это мне обещали сделать, но не сейчас. Сейчас пригласили меня принять участие в обсуждении дел. Отказаться было опасно. Меня «кооптировали» в состав коллегии и усадили рядом с председательницей. Я стал осматриваться.

Комната была небольшая, с узенькими простенками и тремя оконцами. Их двойные рамы не вынимались, должно быть, уже несколько лет. Между немытыми стеклами лежала потемневшая вата, усеянная мушиными трупами. Мухами были облеплены и стаканчики, на дне которых виднелись остатки серной кислоты. Комната была оклеена грязными розовыми обоями с трещинами и вздутиями. Впрочем, обои в некоторых местах исчезали под бесчисленным множеством печатных и рукописных афиш, объявлений и записок. Крашеный желто-красный пол был вымыт сравнительно недавно, зато с потолка свисали клочья белой бумаги, которой некогда был он оклеен. Председательница сидела на диване, обитом зеленым репсом. Наружность председательницы меня озадачила. Я привык в этих случаях к тощим брюнеткам зубоврачебного типа, а тут передо мной находилась дебелая блондинка, лет сорока, в белой шелковой блузке с большим вырезом, в котором виднелась глубокая складка между грудями, подпертыми корсетом. Туда же, в складку, сбегала массивная золотая цепочка, на которой висели золотые часики. Непривычная внешность председательницы объяснялась тем, что, как я потом узнал, эта особа была местная землевладелица, в своё время начитавшаяся брошюр.

Она сохранила повадки помещицы и кокетки. Крепко румянилась, сладострастно вертела глазами и приманчиво облизывала толстые свои губы розовым язычком. Председательствовала она с видимым удовольствием — точно в июльский полдень кушала холодную простоквашу. Голос у неё был певучий и сладкий, но сильный. Единственным видимым признаком радикальной интеллигентности было у неё пенсне, трепетавшее на небольшом, чуть вздернутом носике. Вероятно, в молодости она была смазлива.

Прочие члены коллегии имели вид менее весёлый. Их было четверо: три коммуниста и беспартийный спец. Старший из коммунистов явно принадлежал к числу бывших интеллигентов. Может быть, это был даже какой-нибудь политкаторжанин. Держался он сумрачно и почти ничего не говорил, сося трубку и время от времени поскребывая грязной рукой то темя, то бороду. Растительностью Бог его не обидел — он весь был покрыт всклокоченной черной шерстью. От него пахло затхолью. Пенсне у него было на черной широкой ленте. Другой коммунист был молодой педагог, недавно переведенный в Порхов из Петербурга, высокий белокурый человек, лет 25-ти. На нем была синяя косоворотка, стянутая широким ремнем, и пенсне в роговой оправе. У третьего коммуниста был флюс. Щеку его раздуло — он повязался бабьим белым платком с розовыми горошинами. Завязывая платок на затылке, он нечаянно прихватил клок волос, который торчал хохолком из узла. Нос у него был защипкой, и, должно быть, пенсне на нем плохо держалось даже в нормальное время, а теперь, подпираемое раздутой щекой и ватой, сидело вовсе наискосок. Однако, читатель ошибется, если подумает, что в этом парне было что-нибудь комическое. Его зелёное, очень злое лицо, выражало крайнюю подозрительность и крайнее напряжение мысли. Повидимому, это был какой-нибудь слесарь или водопровод-

чик, остервенелый от классового сознания и насквозь пропитанный политграмотой. На поясе у него висел револьвер — нужно думать, он был чекистом. В заседании он не проронил ни слова, но внимательно слушал и зорко поглядывал на всех говоривших. Явно было, что он чувствует себя стоящим на страже революции. Зато говорил много и оживленно беспартийный спец, молодой еврей, исключительно курчавый и с исключительно длинным носом. Иногда он вскакивал, и тогда оказывалось, что он меньше ростом, когда стоит, чем когда сидит: так длинно было у него туловище и так коротки ноги, снабженные, впрочем, огромнейшими ступнями в огромнейших желтых туфлях. Говоря, он все время наматывал длинный тонкий шнурок своего пенсне на тонкий и длинный, как у горбуна, палец. В сущности, разговор велся всё время между ним, председательницей и педагогом. Речь шла о реформе театра, оратор же был по профессии театральный парикмахер.

Вырабатывались принципы театральной реформы: не для Порхова (неизвестно даже, имелся ли в Порхове театр),— а для всей советской республики и шире — для всего мира. «Если делать, так уж делать!» — восклицал парикмахер: — «Мы не в праве себя ограничивать узкими национальными рамками»! Однако, что именно надо делать, и почему — в Порхове, мне так и не удалось понять за все два часа, которые просидел я в заседании. Наперебой произносились слова, выдернутые то из специальных книг о театре, то из советских газетных передовиц и агиток. Такая бессовестная каша варилась в головах ораторов, что я не мог понять даже того, идет ли речь о преобразовании театра по существу, или еще только намечается план работ и «порядок дня». Чувствовалось, что вопрос «прорабатывается» уже не в первом заседании и что предстоит еще ряд дальнейших. Сперва мне было забавно — участники прений представлялись мне

«квинтетом»: расширенным пленумом крыловского квартета. Потом мне сделалось очень скучно. Вдруг, разглядывая от скуки членов коллегии, я сообразил, что они все — в пенсне. В ту пору и я носил пенсне, и от этого стало мне нестерпимо совестно: в некотором смысле квинтет превращался в секстет — при моём участии. Чтобы его как-нибудь разрушить, я встал и подошел к окну. Оно выходило на чьи-то задворки. Там, в ленивой духоте знойного дня, грелась на солнце большая свинья и ходили куры. Комната находилась во втором этаже, и справа, поверх досчатого забора, была видна улица. Мой мерин стоял, понуря голову и отмахиваясь хвостом от мух. Кругом была полдневная тишина российского захолустья,— а тут пятеро идиотов надсаживались, решая проблемы европейского театра. Я вдруг обернулся к ним и объявил, что пора кончать. Кажется, они сами обрадовались моему предложению. Заседание закрылось, мне наставили подписей и штемпелей на командировку. Было около пяти часов по советскому времени. Учитель помог мне поставить лошадь в какой-то сарай. Мы её отпрягли, я ей дал сена, предусмотрительно захваченного из дому, и расстался с нею до завтрашнего утра.

Надо было подумать о предстоящем ночлеге. Оказалось, что в городе нет ни гостиницы, ни постоялого двора, ни даже какого-нибудь общежития. Ночевка на улице мне не улыбалась. Я решил попросить приюта у моей еврейки, и мы к ней отправились — коммунисту это было по дороге. Однако, сколько мы ни стучали в ворота, нам никто не открыл. Явиться сюда вечером, не условившись заранее, казалось мне рискованно, и я приуныл. Тогда коммунист предложил мне переночевать у него. Я с радостью согласился.

Он дал мне свой адрес, и мы порешили на том, что я приду к нему после лекции — часов в десять.

Он отправился домой, а я пошел слоняться по городу. Вскоре я очутился на главной площади, посреди которой, если мне память не изменяет, росло несколько деревьев. На фоне их высился монумент, которому подобного я ещё не видывал, хотя видел памятник Гейне в Москве, в Нарышкинском сквере, и памятник Володарскому в Петербурге. Он был исполнен в кубистическом и футуристическом духе — пожалуй, не без влияния знаменитого татлинского памятника революции. Основанием ему служил белый куб вышиной примерно по грудь взрослому человеку. На этом кубе высился другой, поставленный как-то наискосок и поменьше величиной. На самом верху, опять же асимметрически, торчала маленькая четырехгранная пирамида с усеченной вершиной. Всё, в общем, было похоже на пасху, которую уронили, сломали и составили вновь, но плохо. Сооружение было вышиной сажени в полторы, то-есть не «выше пирамид». Подойдя ближе, я обнаружил, что и материал его не «прочнее меди». Попросту говоря, состоял он из деревянного каркаса, на который был натянут холст, выкрашенный клеевой краской. С одной стороны холст уже был оторван и позволял заглянуть внутрь. Мне вспомнился стих Державина:

На стогн поставлен, на позор,
Кумир безумну чернь прельщает;
Но чей в него проникнет взор —
Кроме пустот не ощущает.

Впрочем, мой взор и моё обоняние ощущали в памятнике ещё нечто, «кроме пустот»; но что именно — да пребудет тайной сего монумента. Никакой надписи не было на его «цоколе», но обходя вокруг памятника, подобно тому, как бедный Евгений обходил вокруг Медного Всадника, я обнаружил, кому он воздвигнут. В верхней его пирамидке была устроена

маленькая ниша — точно кто ложкой отколупнул кусок пасхи. В нише стояла деревянная рамочка с фотографией Карла Маркса, уже полинялой и размокшей от дождей. Внизу, у подножия, валялся засохший букет полевых цветов, перевязанный куском красного кумача...

Не помню, как скоротал я время до лекции. Я пришел на неё измученный и голодный. «Литературная студия» оказалась десятью или двенадцатью юношами и девушками, явно буржуазного происхождения. Попросту, были это гимназисты и гимназистки. В иное время составили бы они кружок для самообразования, каких бывало много. Теперь опасность навлечь на себя подозрение и другие причины камуфляжного свойства заставили их отдаться под покровительство Наробраза. Мне прочли несколько стихотворений, среди которых были совсем недурные. Расспрашивали меня об Ахматовой, Гумилеве, который был убит через несколько дней, об Осипе Мандельштаме. Потом я прочитал им несколько своих стихотворений — тем лекция и закончилась. Одна барышня, хорошенькая и милая, предложила мне погулять. Мы вышли на берег реки, потом осматривали какие-то старые стены; но я уже мало что понимал от голода и усталости. Потом мы расстались, и я отправился к своему коммунисту.

Он оказался человеком семейным. Двое или трое детей шумели в комнате, которая виднелась из передней. Через неё провели меня на стеклянную веранду. Там не было никакой мебели, только на полу лежали в ряд три плоских матраца. Два из них были покрыты невероятно грязными простынями. Хозяин объявил, что это — постели его и его жены, а я буду спать на третьем матраце, для которого, к сожалению, простыни не нашлось. Не было и подушки. Вскоре явилась хозяйка дома — женщина лет 25-ти в полосатом капоте. С собой принесла она рваное стёганое одеяло, которым и накрылась. На сон

грядущий супруги отпили прямо из бутылки какой-то жидкости — не то холодного чаю, не то квасу. Мне не предложили. Потом муж её снял пенсне и штиблеты, отстегнул пояс и тоже лег. Из этого понял я, что настала ночь. Было десять часов по советскому времени — шесть часов по-настоящему. Никаких занавесок на веранде не было. Вся она была залита солнцем. Я лег на грязный матрац, положив под голову свернутое пальто, но пальто шерстило, и я положил на него носовой платок, послуживший мне наволочкой. Уснуть я, конечно, не мог — от жесткого ложа, от солнца, от мух, которые мне кусали лицо и руки, а главное — от усталости и голода. Проворочавшись с боку на бок часов до двух, когда, наконец, стемнело, я все же впал в забытье, но поминутно просыпался. Очнулся я на рассвете, совершенно разбитый. Дети уже кричали. Я спросил хозяев, давно ли они живут в этой квартире. Оказалось — уже третий год. За два года не удосужились они обзавестись ни бельём, ни кроватями, ни даже парой стаканов. И это не от бедности, ибо коммунист мог легко всё раздобыть, но от своеобразного социалистического аскетизма, который сродни обыкновенному свинству, от страха перед «нездоровым буржуазным обрастанием» и от необходимости решать культурные проблемы в мировом масштабе. Меня все это, впрочем, не удивило: я видел в Москве коммунистов и повыше рангом, чем порховский мой хозяин,— они жили совершенно на тот же лад.

Мне не предложили даже умыться, да и хозяева сами не умывались. Простившись, я вышел на улицу и направился к своему коню. Увы — распречь его я вчера сумел, но как быть теперь? Не буду утомлять читателя рассказом о поисках специалиста по запряганию лошадей в беду. Я и сам не помню подробностей, помню только, что во всем городе я не мог найти никого, кто из жалости ко мне или за деньги

пожелал бы заняться этим делом. Мучился я, вероятно, часа два — и никого не нашел. Обращался в учреждения — везде получил отказ. У меня уже начинали рождаться планы совершенно нелепые — в то время, однако, были они уж не так нелепы. Например, я всерьёз подумывал, не послать ли телеграмму в Москву Луначарскому, чтобы он по телеграфу предписал местному совдепу откомандировать кого-нибудь на предмет запрягания моей лошади. Быть может, я так и сделал бы, но боялся, что процедура займет целые сутки. Я почти лишился чувств от усталости и досады. Прошу заметить, что уже почти сутки я ничего не только не ел, но и не пил. Наконец, поймал я на улице рыжего мужика, который, кобенясь, согласился выручить меня за катушку ниток — цена непомерная по тому времени, но торговаться не приходилось. Он запряг лошадь, и мы отправились на базар, где я должен был с ним расчитаться. Дорогою мы беседовали. В этот голодный год урожай в Псковской и Петербургской губерниях случился в несколько раз выше обыкновенного, и они стали чуть не «житницами России». Мой спутник был этим до чрезвычайности горд.

— А вот на Волге-то народ мрёт с голоду. Слышал? — спросил я.

Рыжий весь просиял широчайшей улыбкой.

— Как не слыхать! — сказал он нараспев. — Намедни к нам приезжал большевик, рассказывал. Говорит — привезём мы к вам на зиму ребят с Волги, а вы их разберите по избам. Двести ребят на уезд.

— Ну, что ж вы?

— А что мы? Мы говорим — нам ребят не надо, а коли привезёте, мы их всех перережем, кому который достанется.

На базаре я купил хлеба и выпил стакан молока. Закупив, что было нужно, тронулся я в обратный путь, снова сползая с беды и карабкаясь по ней вверх и

жалея, что я не барон Мюнхгаузен, который сам себя вытащил из болота за волосы. Приехав в Бельское Устье, я вымылся, лег в постель и проспал до вечера. Вечером зашел дьякон. Мы сидели на баллюстраде балкона и молчали. Мимо прошла Муся О., невеста одного из Серапионовых братьев. Дьякон был к ней неравнодушен.

— Ах, Марья Сергеевна! — сказал он. — Что за девушка! Что за невеста! Красоты неописуемой и не ест ничего!

И вздохнул: жилось ему тоже трудно.

1933 г.

II

СОЛОГУБ

Время бежит. Скоро уже десять лет, как умер Федор Сологуб,— это случилось в декабре 1927 года. Теперь его деятельности можно бы подвести итоги более объективные, нежели в ту пору, когда память о нем еще была свежа и когда его эпоха еще не столь далеко отступила в прошлое. Некогда я писал, что со временем «о Сологубе напишут большую, хорошую книгу». Теперь я думаю, что, пожалуй, книгу-то писать и не станут — разве что это сделает какой-нибудь литературный сноб лет через сто (если будут тогда литературные снобы). Вероятно, от Сологуба останется некоторое количество хороших и даже очень хороших стихов, из которых можно будет составить целый том. В пантеоне русской поэзии он займет приличное место — приблизительно на уровне Полонского: повыше Майкова, но пониже Фета. Прозу его читать не будут — ее уже и сейчас не читают, и время этого не отменит. Романы, которые он писал в сотрудничестве со своей женой Анастасией Чеботаревской («Заклинательница змей», «Слаще яда»), совершенно невыносимы. Вещи вполне оригинальные, как «Творимая легенда» — немногим лучше. На поверку выходит плох и знаменитый «Мелкий бес», которым когда-то мы зачитывались и который останется разве что лишь в качестве документа о быте, и то, конечно, столь шаржированного, что строгий историк вряд ли станет им пользоваться. По-видимому, лучшее из написанного Сологубом в прозе — два-три небольших рассказа, вроде «Стригаль и компания».

И все-таки если не произведения Сологуба, то самая его личность должна занять видное место в литературной панораме символистской поры. Опять же — не потому, что общие или литературные идеи Сологуба занимали центральное или определяющее положение в самом символизме (этого не было), но потому, что в литературной жизни, в обществах, кружках и редакциях он непременно хотел играть и играл весьма заметную роль. Он был вполне искренен в любви к одиночеству и в отвращении к миру. Но и в мире, им отвергаемом, хотел занимать важное место. Наконец, нельзя отрицать, что, как человек, он был очень своеобразен, и это сказывалось во всех его поступках и повадках. Люди символизма вообще отличались таким ярким «оперением», какого русская литературная среда перед тем не видала по крайней мере лет пятьдесят — с тех пор, как исчезли последние представители ее золотого века. Блок, Брюсов, Белый выделялись из толпы с первого взгляда. Таковы же и ныне здравствующие их соратники. Таков был и Сологуб. Представители иных тогдашних групп и течений были куда безличнее, серее.

Принято было говорить о нем, что он злой. Думаю, что это не совсем так. Его несчастьем было то, что несовершенство людей, их грубость, их пошлость, их малость нестерпимо кололи ему глаза. Он злобился на людей именно за то, что своими пороками они словно бы мешали ему любить их. И за это он мстил им, нечаянно, а может быть, и нарочно платя им той же монетою: грубостью, пошлостью. Неверно, что в нем самом сидел Передонов, как многие говорили; но верно, что, досадуя на Передоновых, он нередко поступал с ними по-передоновски.

Излюбленный его прием заключался в том, чтобы поставить человека в неловкое, глупое, а то и тягостное положение. В 1911 г. я приехал к нему в Петербург по поручению одного московского

издательства. Он пригласил меня завтракать. За столом, в присутствии его жены, с которой я только что познакомился, он стал задавать мне столь непристойные вопросы и произносить такие слова, что я решительно не знал, как быть и куда смотреть. Вести разговор в его тоне было немыслимо, оборвать его резко было бы донкихотством и мальчишеством (он был меня много старше). Я старался переменить тему (вернее — темы, ибо от одной непристойности Сологуб тотчас переходил к другой), но он гнул свою линию и откровенно наслаждался моим смущением.

По-видимому, он до крайности был обидчив, как часто бывает с людьми, прошедшими нелегкий жизненный путь и изведавшими немало унижений. Он тратил немало времени и душевных сил на непрестанное, мелочное оберегание своего достоинства, на которое никому и в голову не приходило посягать. С еще большею скрупулезностью оберегал он достоинство своей жены, которую в общем недолюбливали. Казалось бы, этому противоречит тот случай, о котором я только что рассказал. Но я вполне допускаю, что если бы я не смутился, а позволил себе в присутствии Анастасии Николаевны быть столь же развязным, как он сам, то Сологуб счел бы долгом своим за нее обидеться. За справедливостью он не гнался.

Обидчиков (действительных и воображаемых) своих и своей жены он преследовал деятельно и неумолимо. Не стану в подробностях излагать знаменитую в свое время историю с обезьяньими хвостами: о ней уже было писано. Отмечу лишь,что и после того, как она закончилась официальным примирением, Сологуб все-таки буквально выжил из Петербурга двух-трех видных литераторов, которых считал виновниками происшедших событий. Для этого он пустил в ход целый сложный механизм интриг и происков, столь же отчетливо окрашенных в

передоновские тона, как и вся история, из-за которой сыр-бор загорелся.

Однако кроме настоящей обидчивости сидела еще в нем искусственная, наигранная. Ему доставляло удовольствие ставить людей по отношению к нему в положение обидчиков — единственно для того, чтобы видеть, как они смущаются и оправдываются И чем больше было смущение, чем нелепее было обвинение, тем живее радовался Сологуб. Вот совершенно нелепая сцена, которую разыграл он со мною же в начале 1921 г., когда он только приехал в Петербург из Вологды или из Ярославля, где перед тем прожил, кажется, года два. Я пришел в редакцию «Всемирной Литературы» и там его встретил. Он сидел у камина в кресле. Между нами произошел бувально такой разговор:

Я. Здравствуйте, Федор Кузьмич.

Сологуб. Ага, теперь «здравствуйте», а то небось (!) уже радовались, что старик околел где-нибудь на большой дороге.

Я. (Совершенно остолбенев.) Помилуйте, почему же я должен был это вообразить и с чего бы я стал радоваться?

Сологуб. То есть вы хотите сказать, что я на вас взвел напраслину.

Я. Дело не в напраслине, а в том, что вы, очевидно плохо осведомлены...

Сологуб. Ах, вот как! Значит, я уже по-вашему, из ума выжил?

Не помню, как я от него отвертелся, но через несколько дней он первый пришел ко мне, читал новые стихи и был так мил, как умел быть, когда хотел.

Другая история, в которую он пытался меня вовлечь, была сложнее и могла кончиться хуже. Расскажу о ней в подробностях — некоторые из них, пожалуй, стоит сберечь «для потомства».

Аким Львович Волынский был человек умный, но ум у него был взбалмошный, беспорядочный — недаром в конце концов его мысль запуталась где-то между историей религии и историей балета. В молодости он сильно пострадал от каких-то интриг, и в нем осталась глубокая уязвленность, к тому же питаемая тайною неуверенностью в себе, запрятанною в душе опаскою, что, может быть, враги, некогда объявившие его ничтожеством, были правы. В спорах, которые любил страстно, он всегда петушился — вплоть до того мгновения, когда, растерявшись, внезапно сдавал все свои позиции.

В 1921-1922 годах мы с ним вместе жили в петербургском «Доме Искусств». Однажды, глядя в окно, я увидел, что он откуда-то возвращается, на ходу читая газету. У меня к нему было дело, и через полчаса я к нему отправился. Общежитие наше помещалось в доме известного богача Елисеева. Волынскому отвели какой-то будуар с золоченой мебелью, бессовестно размалеванный амурами и зефирами, которые так и порхали по стенам комнаты, среди громоздящихся облаков, лир и гирлянд. На потолке кувыркались музы и грации — у Тьеполо сделался бы при виде их нервный припадок. Центральное отопление не действовало, и Волынский топил буржуйку, немилосердно коптившую на весь мифологический мир. В отсутствие хозяина комната простывала. Я застал Волынского лежащим на постели в шубе, меховой шапке и огромных галошах. В руках он держал все ту же газету. Он меня еле слушал — мысли его были не здесь. Наконец он сказал:

— Дорогой, простите. Я слишком взволнован. Мне нужно побыть одному, чтобы пережить то, что свершилось.

«Свершилась» просто небольшая статья, написанная о нем Мариэттой Шагинян в еженедельной газетке «Жизнь Искусства»: первая хвалебная статья за много

лет. Он ходил с газетой по всему «Дому Искусств», всем показывая и бормоча что-то о нелицеприятном суде грядущей России. Смотреть на него было жалко. Бледная улыбка славы лишила его душевного равновесия...

Мы переживали эпоху пайков. Они выдавались всем ученым и лишь двадцати пяти писателям. В марте 1921 г. Горький привез из Москвы еще восемьдесят. Надо было составить список писателей-кандидатов. Образовали комиссию, в которую вошли Н.М.Волковыский, Б.И.Харитон, Е.П.Султанова-Леткова, А.Н.Тихонов, Волынский, Гумилев и я. Заседали долго, часов до пяти. Все устали, а еще предстояло самое трудное. Так как мы не знали, сколько именно пайков удастся отвоевать для писателей, то имена в списке надо было расположить в убывающей прогрессии: от самых заслуженных и нуждающихся к менее отвечающим этим признакам. Сделать это было необходимо в тот же вечер. Меж тем, как раз в день заседания началось восстание в Кронштадте. Настроение в городе было тревожное, и собраться вновь вечером надежды не было. Решили поручить дело тем, кто может друг с другом встретиться, не выходя из дому, то есть обитателям «Дома Искусств»: Султановой, Волынскому, Гумилеву и мне. Кроме того мне поручили о чем-то переговорить с Горьким.

После заседания (оно происходило на Бассейной в «Доме Литераторов») мы с Гумилевым вышли вместе: я направился к Горькому на Кронверкский, Гумилев — куда-то на Васильевский Остров. Чтобы сократить путь, мы пошли на перерез по льду Невы. На улицах и на Неве была уже зловещая пустота. Таяло, снег был липкий, на льду кое-где появились лужи. Солнце садилось влево от нас, и оттуда же, из дымно-красного тумана, уже доносились первые пушечные выстрелы. Прощаясь, Гумилев мне сказал, что если задержится на Васильевском до темноты, то останется там ночевать — и чтобы мы заседали без него.

К десяти часам вечера, как было условлено, мы с Волынским пришли в комнату Султановой. Гумилева не было. Мы принялись за трудное и щекотливое дело — расставлять писателей, так сказать, по росту. Однако особенных разногласий не было. Работа шла быстро. Наконец, дошла очередь до Сологуба, который перед тем пайка не имел, ибо, как выше сказано, только что возвратился в Петербург. Волынский внезапно пришел в совершенную ярость. Вытаращив глаза, втягивая щеки, и без того впалые, стуча сухим кулачком по столу, он стал требовать, чтобы Сологуба поместили в самый конец списка, потому что это «ничтожество, жалкий кретин, сифилитический талант». Одному Богу ведомо, что должно было значить это последнее определение, но Волынский его выкрикивал без устали. Видимо, оно ему нравилось. Наконец, после долгих споров (немножко совестно вспомнить, что они происходили под равномерный гул кронштадтской пальбы), мы с Султановой отстояли Сологуба, закончили список и разошлись.

Надо заметить, что в начале заседания мы дали друг другу слово сохранить в тайне все, что будет говорено об отдельных лицах. Такое же слово мы взяли с одной барышни, которая случайно присутствовала, ибо пришла в гости к Султановой — и осталась ночевать. Не тут-то было. Прошло месяца полтора. Сологуб давно уже получал свой паек. В один непрекрасный день я пришел домой и застал у себя Сологуба. Он меня ждал. Сидел в кресле, каменный, неподвижный, злой. Я сразу почуял неладное, а он сразу, деревянным голосом, задал мне вопрос:

— Дозвольте спросить, на каком основании намеревались вы лишить меня с женой пропитания и позволяли себе оскорбительные на мой счет выражения в заседании, имевшим место тогда-то и там-то?

— Федор Кузьмич, я ничего неблагоприятного о вас не говорил.

— А если вы не говорили, то кто?

— Я не могу дать вам никаких сведений на сей счет.

— Но не отрицаете, что слова были кем-то сказаны?

— Не отрицаю и не подтверждаю, потому что не имею права рассказывать ничего.

— В таком случае я буду считать, что сифилитиком именовали меня вы, и почту долгом привлечь вас к суду, как персонального оскорбителя и клеветника.

Это уже было сказано с усмешечкой, по которой я понял, что Сологубу отлично известно, кто был в действительности его «персональным оскорбителем». Пришел же он ко мне, чтобы «добыть языка»: надеялся, что, поразив меня, своего же заступника, нелепым обвинением, он заставит меня проговориться — а затем, уже на основании моих слов, притянет к суду Волынского.

Препирались мы долго — подробностей не помню. Он наконец ушел, ничего не добившись. Но вот что примечательно: уходил он уже в другом настроении: тихий, ласковый. По-видимому, ему нужно было только насытить злобу. Не удалось посчитаться с Волынским — он удовольствовался и тем, что заставил меня пережить несколько неприятных минут.

Это было наше предпоследнее свидание. После того я видел его лишь раз, уже осенью, после смерти его жены, у П.Е Щеголева. От кого он узнал, что говорил про него Волынский, осталось мне неизвестно. Султанова вне подозрений. Может быть, где нибудь проговорилась барышня, а всего вероятнее — разболтал сам Волынский.

1937 г.

ГУМИЛЕВ И «ЦЕХ ПОЭТОВ»

Кажется в 1911 г. (не ручаюсь за точность) возникло в Петербурге поэтическое объединение, получившее прозвище «Цех Поэтов». Было оно в литературном смысле беспартийно. Просто собирались, читали стихи, судили о стихах несколько более специально, нежели это было возможно делать в печати. Посетителями этого первоначального «Цеха» были: Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Н. Клюев, Гумилев, Алексей Толстой, тогда еще не перешедший окончательно на прозу. Были и совсем молодые, начинающие поэты: О. Мандельштам, Нарбут, Георгий Иванов и жена Гумилева — Анна Ахматова.

Постепенно внутри «Цеха» стала обособляться группа, в которой главенствовали Сергей Городецкий и Гумилев. Она старалась образовать новое «направление», долженствующее прийти на смену отживающему свой век символизму. Оно назвало себя акмеизмом или адамизмом. Его главным лозунгом была борьба с мистицизмом и «туманностью» символизма. В «Цехе» наметился раскол. Поэты, не склонные к акмеизму, отпали, и «Цех» сделался, в сущности, кружком акмеистов, которые провозгласили Гумилева и Городецкого своими вождями и мастерами. Кроме этих двоих, ядро акмеизма и «Цеха» составили: Анна Ахматова, Мандельштам, Нарбут, Кузьмина-Караваева.

Победить символизм новой группе не удалось. Ее идеи оказались недостаточно сильны и отчетливы,

чтобы действительно создать новое литературное направление. Это не помешало, однако ж, некоторым членам «Цеха» вырасти в крупных или хотя бы заметных поэтов. Такова, прежде всего, Анна Ахматова, затем — О. Мандельштам. Сам Гумилев окреп и сложился именно в эпоху акмеизма. Зато для Сергея Городецкого акмеизм ознаменовал начало конца. После провозглашения новой школы он выпустил три книги: сперва «Иву», просто нудную и бездарную, потом монархический «Четырнадцатый год», а затем, уже при большевиках, коммунистический «Молот и серп». Нарбут, кажется, вовсе перестал писать стихи, Кузьмина-Караваева перешла на прозу.

В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился. В сущности, он держался на личной дружбе участников. Война и политика нарушили эту связь. К концу 1920 г., когда перебрался я из Москвы в Петербург, об акмеизме давно уже не было речи. Ахматова о нем словно забыла. Мандельштам тоже. Нарбута, Кузьминой-Караваевой и Городецкого не было в Петербурге.

Я был болен до начала 1921 г. и почти никого не видел. Однажды, еще не вполне оправившись от болезни, спустился я в столовую «Дома Искусств» и встретил там Гумилева. Он сказал мне:

— Я решил воскресить «Цех Поэтов».
— Ну что же, в добрый час.
— Сегодня у нас уже второе собрание.

И Гумилев, в слегка торжественных выражениях, тут же меня кооптировал в члены «Цеха».

— Я это делаю на правах самодержавного синдика,— сказал он.

Мне оставалось благодарить. При этом, однако же, я поставил Гумилеву на вид, что могу вступить в объединение только в том случае, если оно действительно «цеховое», то есть в литературном

отношении беспартийное и отнюдь не клонится к воскрешению акмеизма. Словом — если возобновляется *первый* «Цех», а не *второй*. Гумилев заверил меня, что это именно так.

Собрание должно было состояться через час. Перед тем, как идти туда, я зашел к О.Мандельштаму, жившему со мной в одном коридоре, и спросил его, почему он мне до сих пор ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся.

— Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались вступить. Всё придумали гумилята (так назывались в Петербурге начинающие или незначительные поэты, вращавшиеся в орбите Гумилева) — а Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики.

И Мандельштам стал надо мною смеяться, что я «попался».

— Да сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? — спросил я, признаться, не без досады.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, застал я еще пять человек. Читались и обсуждались новые стихи. Разговор был сух и холодноват, но велся в очень доброжелательном тоне. Гумилев в этом отношении подавал пример. Председательствовал он с очевидным удовольствием, но держался безукоризненно.

От всего собрания осталось у меня двойное чувство. Хорошо, конечно, что поэты собираются и читают стихи, но от чисто формального подхода к стихам мне было не по себе. К тому же и самый формализм «Цеха» был слишком поверхностен, ненаучен. Не видя, таким образом, в «Цехе» ничего

полезного, я не мог, однако же, видеть в нем и вреда. Решил держаться пассивно.

На следующем собрании произошло событие, само по себе мелкое, но для меня неприятное. В тот вечер происходило вступление нового члена, молодого стихотворца Сергея Нельдихена. Неофит прочитал стихи свои. В сущности, это были скорее стихотворения в прозе — лиро-эпические отрывки разительного содержания. Написанные языком улицы, впрочем — довольно кудрявым, вполне удобопонятные, отнюдь не какие-нибудь «заумные», стихи Нельдихена были по-своему восхитительны той изумительной глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого шел рассказ, являл собою образчик отборного и законченного дурака.

Притом дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. И все это подносилось не в шутку, а вполне серьезно. Нельдихен читал:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые
висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие
хозяйки—
О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож
на Байрона...

И прочее — в том же роде. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что успели нахохотаться раньше: лирические излияния

Нельдихена уже были в славе. Их знали наизусть. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь обрядом, одной из формальностей, до которых Гумилев был охотник.

После чтения Гумилев произнес приветственное слово. Он очень серьезным тоном отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею гнушались, никто не хотел слыть глупым. Это несправедливо: пора и глупости иметь голос в хоре литературы. Глупость — такое же естественное свойство, как ум, ее можно развивать, культивировать. Припомнив два стиха Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять,—

Гумилев назвал их жестокими и несправедливыми. Наконец, он приветствовал в лице Нельдихена вступление очевидной глупости в «Цех Поэтов».

После заседания я спросил Гумилева, зачем он кружит голову несчастному Нельдихену, и зачем вообще Нельдихен нужен. К моему удивлению, Гумилев ответил, что отнюдь не шутил, а говорил вполне искренно. Он прибавил:

— Не мое дело разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам бы я не хотел быть глупым, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою естественную глупость он выражет с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия — это и есть умение. Следовательно, Нельдихен — поэт, и я обязан принять его в «Цех Поэтов».

Пробовал я уверять его, что для человека, созданного по образу и подобию Божию, глупость есть не естественное, а противоестественное состояние,— Гумилев стоял на своем. Указывал я и на учительный смысл всей русской литературы, на глубокую мудрость русских поэтов, на серьезность, как на

традицию русской словесности,— Гумилев был непреклонен. Когда, несколько времени спустя, должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена, я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Должен сказать, однако, что сделал это вовсе не из-за одного только Нельдихена. Буду даже вполне откровенен: покинуть «Цех» была у меня причина гораздо более веская.

Еще до моего приезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, которого правление находилось в Москве. Это правление, состоявшее из разного футуристического и чекистского сброда, возглавлялось, если не ошибаюсь, самим Луначарским. В отличие от московского центра, петербургское отделение носило вполне добропорядочный, «чистый» характер. Не помню, из кого состояло его правление, председателем же был Блок. Только что гумилевский «Цех» начал действовать, в нем начались какие-то глухие разговоры о том, что «блоковское» правление Союза надо свергнуть и заменить «гумилевским».Надобность эта была для меня неясна, но я вообще был еще не в курсе петербургских дел, да и не особенно ими интересовался. И вот однажды ночью, часа в два, пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что блоковское правление Союза только что свергнуто и заменено другим, в которое вошли исключительно члены «Цеха» — в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно — повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это чрезвычайно мне не понравилось, и я сказал Мандельштаму, что не хочу быть в правлении, столь «революционно» составившемся, и что напрасно меня выбирали, меня не спросив. Мандельштам и на сей раз проявил много веселости. Однако он уговорил меня «не поднимать истории», не обижать Гумилева и из

правления официально не выходить. Порешили на том, что я формально останусь в правлении, но фактически в его заседания ходить не буду.

Вслед за тем стало для меня ясно, кому и зачем нужно было устранить Блока с его правлением. По тем временам деньги цены не имели. Нужны были связи и бумаги с печатями. Союз был учреждением официальным. У него была красная печать. Он мог выдавать командировки, ордера на железнодорожные билеты (которые «частным лицам» не продавались вовсе), всевозможные удостоверения и т.д. Таким образом, члены правления Союза могли обделывать разные более или менее «мешочнические» дела и помогать другим в таких же предприятиях, беря за то известную мзду — хотя бы борзыми щенками. Самому Гумилеву все это, разумеется, было не нужно и чуждо. Но двум или трем предприимчивым молодым людям из «Цеха» очутиться членами правления Союза было весьма желательно. Пользуясь честолюбием Гумилева, они сделали его председателем Союза, чтобы занять при нем места секретарей — и таким образом за его спиной обделывать свои дела. Но главная их затея не в том заключалась. Они знали, что в Москве при Союзе имеется кофейня, отлично торгующая, и захотели устроить такую же в Петербурге. По тем временам получить разрешение на открытие частного ресторанного предприятия было невозможно. Но устроить ресторан при Союзе было нетрудно. И вот, к весне при Союзе образовался «Дом Поэтов», в котором поэтическими выступлениями прикрывалась деятельность ресторанная. Правда, к этому времени начался уже нэп, но кофеен в Петербурге еще не было, и вечера «Дома Поэтов» усердно стали посещаться публикой, ищущей вечернего пристанища с пирожными и стаканом чая. Устроители отлично зарабатывали. Гумилев простодушно верил, что возглавляет учреждение литератур-

ное. Я с самого начала объявил, что нога моя в «Доме Поэтов» не будет, и предположенным вечером с участием Нельдихена воспользовался для того, чтобы заявить о своем уходе из «Цеха», тем самым отмежеваться и от «Дома Поэтов».

Мое письмо, кажется, сперва несколько обидело Гумилева, но затем наши добрые отношения восстановились сами собой. Он был человек с открытым сердцем. Он понял, что, выходя из «Цеха», я не проявляю никакого недоброжелательства к нему лично. Что же до Союза и «Дома Поэтов», то мы этой темы никогда не касались. Случилось даже так, что после моего ухода из «Цеха» мы стали видеться чаще и беседовать непринужденнее.

Однажды отказавшись участвовать в делах союзного правления, я в этом решении остался тверд до конца, если не считать одного дела,— но то была уже *ликвидация* Союза. Когда Гумилев был убит, меня в Петербурге не было. Приехал я месяца через полтора, и одновременно со мной явился из Москвы какой-то тип, объявивший, что ему московским Союзом Поэтов поручено ревизовать дела петербургского отделения: в частности — выяснить вопрос о панихиде, которая была отслужена по Гумилеву в Казанском соборе. История эта грозила большими неприятностями. Один из членов «Цеха», не имевший никакого отношения к «коммерческой» деятельности других членов, но как раз всего более повинный в устройстве панихиды, пришел ко мне советоваться. Зная хорошо большевиков, я придумал выход. Вызвав к себе «ревизора», я объявил ему, что завтра еду в Москву и там отчитаюсь перед самим Наркомпросом. «Ревизор», разумеется, не посмел требовать от меня доклада, предназначенного самому высшему начальству. Я же поехал в Москву, провел там недели две по личным своим делам, а затем вернулся в Петербург и созвал общее собрание Союза. На этом собрании я

заявил, что был в Москве, посетил главное правление Союза и убедился в том, что это не правление Союза Поэтов, а ночной притон с тайной продажею спирта и кокаина (это была правда). Затем я предложил членам Союза резолюцию следующего содержания:

«Решительно осуждая устройство предприятий ресторанного типа под флагом литературы, мы, нижеподписавшиеся, заявляем о своем выходе из числа членов как Всероссийского Союза Поэтов, так и его петербургского отделения».

Эта резолюция, конечно, весьма не понравилась устроителям «Дома Поэтов», ибо была столько же направлена против них, как и против московского центра. Однако она была принята единогласно всеми присутствующими, а затем подписана и всеми остальными членами Союза, не присутствовавшими на заседании. Таким образом, петербургское отделение перестало существовать, и возможность ревизовать его деятельность была заправилами московского Союза утрачена. Их цель заключалась в том, чтобы выслужиться перед большевиками, разоблачив петербургскую крамолу. После нашей резолюции, разоблачившей их кабацкое предприятие, они предпочли не доводить дела до начальства, и хотя могли потребовать отчета от *бывшего* правления о его *бывшей* деятельности,— предпочли смолчать. На это я и рассчитывал.

Ликвидация петербургского Союза не означала, однако же, ликвидации «Дома Поэтов». К этому времени он уже получил возможность существовать независимо от какого бы то ни было учреждения, как всякий другой ресторан,— и, действительно, его бытие продолжалось еще несколько месяцев, пока не закончилось грязной историей, о которой не стоит распространяться. Она носила уже гораздо более частный характер.

1933 г.

НЕУДАЧНИКИ

У Баратынского есть такие стихи:

Глупцам не чуждо вдохновенье.
Им так же пылкие мгновенья
Оно, как избранным, дарит:
Слетая с неба, все растенья
Весна равно животворит.
Что ж это сходство знаменует?
Что им глупец приобретет?
Его капустою раздует,
Но лавром он не расцветет.

Как почти все эпиграммы Баратынского, это стихотворение, особенно в первой своей половине, заключает начало мысли очень серьезной,— может быть, даже грустной. Конечно, в литературном отношении очень забавно и само собой напрашивается на эпиграмму зрелище глупца, распираемого, «раздуваемого» поэтическим вдохновением. Но по человечеству — что тут смешного? Баратынский сам говорит, что вдохновение, дар небес, как весна — рано животворит всех — и умных и глупых. В душе глупца «пылкие мгновения» протекают так же, как в душе гения. Глупец, спешащий в стихах излить охватившие его чувства, по человечеству более достоин жалости, чем насмешки.

Смешны только его стихи — плод неосмысленного душевного порыва. Самый же порыв не смешон нисколько. Об одном таком существе, одержимом поэтическими стремлениями, недавно напомнила мне

Марина Цветаева. В своих воспоминаниях о Максимилиане Волошине (в «Современных Записках») пересказала она историю моей встречи с некоей Марией Папер. Однако пересказ Цветаевой вышел неточен — не по ее вине: я рассказывал Волошину, Волошин ей — да и то было по крайней мере лет пятнадцать тому назад.

Два моих приятеля снимали двухэтажный флигель, нечто вроде студии, при особняке Петрово-Соловово в Антипьевском переулке, невдалеке от музея Александра III. В рождественский сочельник 1907 года устроили они у себя маскарад — один из тех несколько сумасшедших маскарадов, на которых в те времена завязывались и развязывались сложные истории — поэтические и любовные. Часов в шесть утра, когда я возвращался домой, было еще темно. Шла метель. Занесенный снегом, извозчик привез меня домой, в Николо-Псковский переулок, и я лег спать. Проснулся я во втором часу дня. Горничная Дуняша подала мне чай и сообщила, что какая-то барышня дожидается меня на кухне с семи часов утра. Столь ранний визит в первый день Рождества меня удивил.

— Почему же вы не сказали ей, чтоб она пришла завтра?

— Я сказывала. Они говорят, что хотят вас дождаться.

— Но почему же вы ее не провели в гостиную?

— Они не хотят. Пришли с черного хода да так и сидят на кухне.

Я выпил чаю, оделся и вышел на кухню. Там сидело на табурете какое-то существо в черном ватном пальто, набитом, как кучерская шуба. Барашковая приплюснутая шапочка была покрыта огромным серым платком, который, перекрещиваясь на груди, сзади завязан был в толстый узел. Поверх платка, на шнуре, висела барашковая муфточка бочонком. При

моем появлении существо не пошевельнулось. Оно продолжало сидеть, растопырив руки в черных вязаных перчатках и тяжело упершись в пол резиновыми галошами, доходившими ему почти до колен. Снег, принесенный на этих галошах, растаял посреди кухни широкой лужей.

— Что вам угодно? — спросил я.

Не вставая и не поворачивая головы, существо пропищало:

— Я Мария Папер.

Такого писклявого голоса я отродясь не слышал и никогда не услышу более. Право же, он был разве только немного погуще комариного жужжания.

— Я Мария Папер. Я вам прочитаю мои стихи.

Насилу мне удалось убедить ее снять галоши. Шубы она не сняла и платка не развязала. Мы прошли в кабинет. Едва усевшись, она выхватила из муфты две клеенчатых тетради и начала читать. Личико у нее было крошечное и розовое — не то младенческое, не то старушечье. Между выпуклыми румяными щечками круглой клюквой торчал красный носик. Круглые карие глазки не смотрели ни на меня, ни в тетрадку: меня она как бы не видела, а стихи знала наизусть. Она лопотала их с такой быстротой и так пищала, что я ничего не мог понять. К стыду моему должен признаться, что вся эта сцена доставляла мне удовольствие. Мне было всего двадцать лет, я успел напечатать с десяток очень плохих стихотворений, и мне весьма льстило, что некая молодая поэтесса пришла ко мне, чтобы услышать мое авторитетное мнение. Я сам никогда не ходил ни к кому, но знал, что начинающие стихотворцы ходят к Бальмонту, к Брюсову. Словом, тщеславие во мне взыграло: недаром же говорит Гоголь, что всякий, хоть на одну минуту, делается Хлестаковым.

Наконец, я все-таки понял, что слушаю не стихи, а

писк. Я попросил ее оставить тетрадки дня на два. Она ушла, я тотчас принялся читать. Стихи оказались разительной чепухой, выраженной, однако, по всем правилам стихотворства, разнообразными размерами, сложными строфами, с метафорами и другими риторическими фигурами. Единственная их тема была любовная, самые прямые эротические картины и образы так и сыпались друг за другом, причем очевидно было, что все это писано понаслышке. Не удивительно, что всего наивнее оказался обширный отдел, посвященный всяческим «извращенностям».

Через два дня Мария Папер явилась снова. Я сказал ей, что стихи плохи. Она ответила безучастным голосом:

— Я написала другие.

И вынула еще две тетрадки.

— Когда ж это вы написали?

— Я не знаю. Вчера, сегодня.

— Сколько же стихотворений вы пишете в день?

— Я не знаю. Вчера написала двадцать.

Я спросил, зачем она пишет о том, чего не знает и чего не было. Она долго молчала, потом выпалила, потупившись:

— Но ведь я только об этом и думаю.

На мою суровую критику не возразила она ничего. Ушла молча. Я уже запер за нею дверь, как вдруг — звонок. Снова она:

— А вы не могли бы мне дать адрес Вячеслава Иванова?

— Он живет в Петербурге.

— А вы не можете мне дать адрес Иванова Пе-Ка?

— Что значит Пе-Ка?

— Я не знаю; так напечатано: Иванов, П.К.

Оказалось — она взяла список сотрудников какого-то журнала и обходит всех по алфавиту.

— Но ведь до меня еще не дошла очередь?

— А к вам я зашла потому, что было поблизости.

Действительно, постепенно обошла она чуть ли не всех писателей — везде бывала со своими стихами и галошами, которые носила и в ненастье, и в ветер, и в зной, и в стужу. Через несколько месяцев стала она в своем роде знаменитостью. У очень плохих стихов есть странное свойство: то и дело случается, что их самые патетические пассажи, помимо авторской воли, приобретают забавный и чаще всего не совсем пристойный смысл. Так было и со стихами Папер. Вся поэтическая Москва знала наизусть ее четверостишие, приводимое и Мариной Цветаевой:

Я великого, нежданного,
Невозможного прошу,
И одной струей желанного
Вечный мрамор орошу.

Люди мягкотелые или лживые ее обнадеживали. Другие советовали бросить. Она с одинаковым безразличием пропускала мимо ушей и то и другое,— и писала, писала, писала. Но она была вовсе не графоманка. Она была непрестанно обуреваема самыми поэтическими чувствами, и стихи ей звучали откуда-то, словно голос ангелов,— вся беда в том, что это были какие-то очень глупые ангелы или насмешники.

Долгое время ей ничего не удавалось напечатать. Наконец журналист Шебуев, сотрудник «Раннего утра», толстощекий субъект, ходивший в огромных роговых очках, в рединготе брусничного цвета и в брусничного цвета цилиндре, нашел способ зарабатывать деньги на бездарностях. Он стал издавать журнальчик «Весна», в котором злосчастные авторы сами оплачивали столбцы, занятые их писаниями. Журнальчика никто не покупал, но Шебуев имел от него недурной доход. Напечаталась в «Весне» и Мария Папер.

Однажды ее постигло несчастье. Надо сказать, что,

читая свои стихи, она то и дело влюблялась в слушателей, которые часто даже и не подозревали об ее пылких чувствах. В 1909 или 1910 г. она выпустила сборник любовных своих излияний, под заглавием «Парус». На первой странице красовалось посвящение одному литератору, которого имя, отчество и фамилия были пропечатаны полностью. Литератор, человек добродушный, хотя известный всей Москве своими непрестанными каламбурами и эпиграммами, на сей раз от конфуза лишился и добродушия и остроумия. Недели через две после выхода книжки мы с ним спускались по мраморной лестнице в редакции «Утра России». Вдруг снизу — Мария Папер в галошах и с пачкою белых книжечек: она сама разносила «Парус» свой по редакциям. Не успела она произнести ни слова, как мой приятель ей отчеканил:

— Сударыня, вы можете писать глупости, но не имеете права без спроса их посвящать. Будьте здоровы.

Она замерла на лестнице, не успев даже пискнуть. Больше я не видал ее. Впоследствии мне рассказывали, что влюбившись в филолога и поэта В.О.Н., году в 1912, приезжала она к нему под Тарусу, в деревню, где он давал уроки. Мужик привез ее на телеге, протряся верст пятнадцать со станции в знойный июльский день. Она пропищала десятка три стихотворений, отказалась от пищи и питья и взгромоздилась опять на телегу. Оставшиеся долго смотрели ей вслед, как она подскакивала на выбоинах, распустив черный зонтик и вытянув ноги в ослепительно сверкающих галошах. С тех пор след ее затерялся.

* *
*

Посвящая свою эпиграмму глупцам, Баратынский шел в сторону наименьшего сопротивления. Конечно,

отчасти смешон каждый глупец, даже когда он так жалок, как была жалка Мария Папер. Но ведь в не менее, даже в более глубоком смысле эпиграмма Баратынского порой применима к людям совсем не глупым — только лишенным поэтического дара. Вдохновение посещает их, как всех смертных,— и тут возникают положения, уже ни с какой стороны не забавные. Как ни грустен в сущности образ Марии Папер, перед ним позволительно и улыбнуться,— прежде всего потому, что сама она в своей одержимости была почти счастлива, ибо почти блаженна. Она пела, закрыв глаза, и песней своей упивалась. Тяжела судьба тех, у кого глаза раскрыты. Я видел таких очень много — сейчас расскажу об одном.

В 1904 г., в альманахе «Гриф» появилось несколько довольно слабых стихотворений за подписью «Одинокий», а вскоре приехал в Москву и сам автор. Модернистские редакции и салоны стал посещать молодой человек довольно странного вида. Носил он черную люстриновую блузу, доходившую до колен и подвязанную узеньким ремешком. Черные волосы падали ему до плеч и вились крупными локонами. Очень большие черные глаза, обведенные темными кругами, смотрели тяжело. Черты бледного лица правильны, тонки, почти красивы. У дам молодой человек имел несомненный успех, которого впрочем не искал. Кто-то уже называл его «нестеровским мальчиком», кто-то — «флорентийским юношей». Однако, если всмотреться попристальней, можно было заметить, что тонкость его уже не так тонка, что лицо, пожалуй, у него грубовато, голос деревенский, а выговор семинарский, что ноги в стоптанных сапогах он ставит носками внутрь. Словом, сквозь романтическую наружность сквозило что-то плебейское. О себе он рассказывал, что зовут его Александр Иванович Тиняков, что он — сын богача-помещика, непробудно-

го пьяницы и к тому же скряги. Он где-то учился, но недоучился, потому что отец его выгнал из дому — чуть ли не за роман с мачехой.

Он был неизменно серьезен и неизменно почтителен. Сам не шутил никогда, на чужие шутки лишь принужденно улыбался, как-то странно приподнимая верхнюю губу. Ко всем поэтам, от самых прославленных до самых ничтожных, относился с одинаковым благоговением; все, что писалось в стихах, ценил на вес золота. Чувствовалось, что собственные стихи не легко ему даются. Все, что писал он, выходило вполне посредственно. Написав стихотворение, он его переписывал в большую тетрадь, а затем по очереди читал всем, кому попало, с одинаковым вниманием выслушивая осуждения знатоков и совершенных профанов. Все суждения тут же записывал на полях — и стихи подвергались многократным переделкам, от которых становилось не лучше, а порой даже хуже.

Со всем тем, за смиренною внешностью он таил самолюбие довольно воспаленное. На мой взгляд, оно-то его и погубило. С ним случилось то, что случилось с очень многими товарищами моей стихотворной юности. Он стал подготовлять первую книжку своих стихов и чем больше по виду смиренничал, тем жгуче в нем разгоралась надежда, что с выходом книги судьба его разом, по волшебству изменится: из рядовых начинающих стихотворцев попадет он в число прославленных. Подобно Брюсову (которому вообще сильно подражал), своей книге он решил дать латинское имя: «Навис нигер» и благодарил меня очень истово, когда я ему разъяснил, что следует сказать «Навис нигра». К предстоящему выходу книги — готовился он чуть ли не с постом и молитвою. Чуть ли не каждая его фраза начиналась словами: «Когда выйдет книга». Постепенно, однако же, грядущее событие в его сознании стало превращаться из личного в какое-то очень важное вообще.

Казалось, новая эра должна начаться не только в жизни Александра Тинякова (на обложке решено было поставить полное имя, а не псевдоним, должно быть затем, чтобы грядущая слава не ошиблась адресом). Казалось, все переменится в ходе поэзии, литературы, самой вселенной.

И книга вышла. Ее встретили так, как должны были встретить: умеренными похвалами, умеренными укорами. Но это и было самое убийственное для Тинякова. Он ждал либо славы, либо гонений, которые в те еще героические времена модернизма расценивались наравне со славой: ведь гонениями и насмешками общество встречало всех наших учителей. Но спокойного доброжелательства, дружеских ободрений, советов работать Одинокий не вынес. В душе он ожесточился.

Еще и раньше он порой пропадал из Москвы, где-то скитался, пил. Было в нем что-то от «подпольного» человека, растравляющего себя явным унижением и затаенной гордыней. Недаром посвятил он цикл стихов памяти Федора Павловича Карамазова, и не только для эпатирования публики (хотя был расчет и на эпатирование) писал:

Любо мне плевку-плевочку
По канавке грязной мчаться...

После «катастрофы» со сборником (хотя вся катастрофа в том-то и заключалась, что никакой катастрофы не было) — Тиняков проклял литературную Москву и перебрался в Петербург. Стихи он почти перестал писать и отдался решению философических, религиозных, исторических и общественных проблем. Началась для него эпоха кустарного философствования, тем более экстатического, что оно покоилось более на кабацких вдохновениях и озарениях, нежели на познаниях. Из одной крайности он бросался в другую. Время от времени я получал от него письма. В

одном писалось, что окончательно обратился к Богу, что путь России — подвижнический, что она — свет миру и прочее. Проходило несколько месяцев — Россия оказывалась навозной кучей, и Господу Богу объявлялся смертный приговор. Потом вдавался он в кадетский либерализм и все упование возлагал на Государственную Думу. Потом оказывалось, что Дума, печать, общество — в руках жидов...

Примерно к 1916 году он запутался окончательно. Будучи сотрудником «Речи», тайком пописывал он какие-то статейки в «Земщине». Я совершенно уверен, что делал он это не от подлости, а именно от того, что запутался «потерял все концы и начала»,— может быть, отчасти спьяну. Однако двойное сотрудничество внезапно разоблачилось. История эта в свое время наделала много шума. Кончилась она тем, что Тинякова изгнали и из «Речи», и из «Земщины». Он исчез с литературного горизонта. Потерял и я его из виду. Настали бурные и сумбурные годы «взвихренной Руси». Я уже думал, что где-нибудь сложил он свою голову — у белых, у красных, а то и попросту под забором. Внезапно, не то в конце 1921, не то в начале 1922 года,— он объявился снова.

Я жил тогда в петербургском Доме Искусств. В дверь мою постучались — на пороге стоял Одинокий, даже не постаревший, только оборванный,— но мы все ходили тогда оборванными. Приехал он прямо из Казани, где оказывается года два редактировал газету.

— Значит, вы теперь коммунист? — спросил я.

— Нет, но мне с большевиками по пути, поскольку они отрицают Бога. Бога я ненавижу, Владислав Фелицианович,— прибавил он конфиденциальным тоном.

— А Бабу-Ягу?

Он ухмыльнулся:

— Вы хотите сказать, что если я ненавижу Бога, то,

значит, верю в Него? Ну, что ж? Оно, может быть, так и есть.

Он заставил меня написать ему стихи в альбом и ушел. Его поселили в том же Доме Искусств, в той части, которая была предназначена для неопрятных жильцов. Там он пьянствовал и скандалил. По ночам приводил к себе тех десяти-двенадцатилетних девочек, которые днем продавали на Невском махорку и папиросы. Его соседка по комнате, старушка, бывшая артистка Мариинского театра, жаловалась, что он стучит к ней в тонкую дощатую перегородку и ругается:

— Скоро ты, старая ведьма, угомонишься? Перестань ворочаться дьяволица, не мешай!

Он пробовал заняться литературной работой — из этого ничего не вышло. Меж тем, нужны были деньги. Перед самым моим отъездом из Петербурга я встретил его на Полицейском мосту. Он был в новых штиблетах и сильно пьян. Оказалось — поступил на службу в Чека.

— Вы только не думайте ничего плохого,— прибавил он. — Я у них разбираю архив. Им очень нужны культурные работники.

И подняв верхнюю губу, он захихикал. Больше я его не видел.

* *
*

Конечно, злоба на мир жила в нем как следствие осознанной бездарности. (Я говорю о бездарности чисто поэтической, потому что вообще человек он был скорее одаренный). Но на отдельных людей он эту злобу не обращал. К чести его надо сказать, что в нем не было злобы и на все сословие литераторов. Больше того: как ни было низко его падение, до зависти

вообще и до персональной зависти к кому бы то ни было, он не падал, за поэтическую свою неудачу не мстил никому. Меж тем, в эти годы, как раз удалось развернуться тем, кто за свою бездарность хотел отмстить.

Осенью 1917 г. мой добрый знакомый Л.Б.Яффе, с которым мы тогда редактировали антологию современной еврейской поэзии, попросил разрешения привести молодого поэта, еврея, желающего узнать мое мнение о его русских стихах. В назначенный день явился ко мне небритый, немного сутулый человек в студенческой тужурке. Он представился — Семен Родов.

По содержанию его стихи распадались на две части. Меньшая часть из описаний природы и любовной лирики. Бо́льшая была посвящена самому пламенному еврейскому национализму. В разговоре Родов отрекомендовался убежденным сионистом, что, впрочем, мне было заранее известно от Л.Б.Яффе. По форме стихи были гладко зализаны, полны дешевых, общеизвестных эффектов, довольно кудрявы и подражательны. Родов подражал преимущественно Бальмонту. Стихи были каллиграфически переписаны в переплетенную тетрадь. Переплет был из золотой парчи.

Я указал Родову на главные недостатки его стихов, в особенности — на погрешности против русского языка. Мою критику выслушал он смиренно и с ней согласился, обещая исправиться. Он вообще держался крайне почтительно, порой даже льстиво, но не без тонкости. То и дело умел ввернуть намек на то, что состоит великим моим поклонником и всякое мое слово ценит решительно на вес золота.

Он мне не очень понравился, и никаких надежд на его поэтическую будущность я не питал, но был с ним, конечно, вежлив и доброжелателен. Одна черта была в

нем весьма привлекательна: он с первых же слов заявил себя человеком религиозным. Нравилось мне и то, что он сионист. В конце концов он ко мне повадился. Водили мы разные разговоры, в том числе политические: времена были напряженные, перед самым октябрьским переворотом. Видя мое сочувствие временному правительству, Родов меня обличал в сочувствии большевикам. Подсмеивался над моей наивностью: как мог я не видеть, что Ленин — отъявленный пломбированный шпион? Словом, большевиков ненавидел Родов мучительно,

Вскоре после переворота он принес на мой суд новую поэму. Не помню ее теперь, помню только, что темою был октябрь. Ненависть автора к большевикам была кровожадна до отвращения. Заканчивалась поэма в том смысле, что, дескать, вы победили, но мы еще отомстим. Как рефрен, повторялся образ санитарного автомобиля, который носится по Москве, по Садовым:

Кру́гом, кру́гом, кру́гом, кру́гом.

Эта строчка запомнилась, как и тема автомобиля. В том, что большевики не продержатся больше двух месяцев, Родов не сомневался.

Месяцев через пять Родов мне сообщил, что поступил на службу в типографию Левинсон и даже уже состоит членом заводского комитета и вообще «ворочает делами». Для столь яростного ненавистника большевиков это было неподходящее занятие, но Родов напомнил мне, что профсоюз печатников — меньшевицкий, а не большевицкий. По тем временам это было верно: союз красных печатников еще только намечался. Но все-таки в заводские комитеты уже тогда можно было попасть только через большевиков. Это мне показалось подозрительно, но я не стал спорить.

Почистив стихи под моим руководством, он

вознамерился издать книжку,— за исключением, конечно, «октябрьской» поэмы. Я его отговаривал, говоря, что стихи еще слишком слабы. Но он заупрямился. Наконец, книжка вышла. Радостный автор поднес мне один экземпляр с самой почтительной и лестной надписью.

Это было летом 1918 г. Незадолго до того я продал свою книгу «Путем зерна» одному издателю. Внезапно издатель бежал из Москвы — тогда многие бежали. Я был огорчен, потому что и другие издательства постепенно закрывались. Внезапно Родов предложил мне издать книжку на собственный мой счет, обещая неограниченный кредит в типографии Левинсона. Он ходил ко мне чуть не каждый день, разжигая мой аппетит. Наконец, когда я решился печатать книгу,— Родов мне намекнул, да и не намекнул, а весьма ясно поставил условие: услуга за услугу: он достает мне кредит, а я пишу в «Русских Ведомостях» или во «Власти Народа» хвалебную рецензию на его стихи. Это была первая взятка, мне предложенная, и я возмутился довольно резко. Родов ушел, и больше я его у себя не видел.

Книга его прошла незамеченной. Настала осень. Мне предложили читать лекции в пролеткульте. Я пошел на организационное собрание, где слушатели и лекторы должны были впервые встретиться. Велико было мое удивление, когда, в числе пролетарских поэтов, увидел я Родова, уже не в студенческой тужурке, а в кожаной куртке. На руках нарастил он грязь и мозоли. Держался столбовым пролетарием и старым большевиком. На собрании, а потом на лекциях довольно часто и развязно обращался ко мне, называя меня уже не по имени-отчеству, а «товарищ Ходасевич». Он мне стал окончательно мерзок. Но, признаюсь, мне стоило труда сдержаться, когда на одном из воскресных исполнительных собраний стал он при мне, ничуть не смущаясь, читать поэму

«Октябрь». Это была та самая поэма, которую я знал, но перелицованная, как старая шуба, и положенная на красную подкладку. Из противобольшевицкой она сделалась яростнобольшевицкой. Однако вся описательная часть была сохранена вместе с автомобилем, который носится по Садовым:

Кру́гом, кру́гом, кру́гом, кру́гом.

Затем Родов ее напечатал, и ею определилась его судьба. Никакого поэтического успеха она не имела. Пролеткультские поэты считали Родова нулем — вполне справедливо. Но поэма послужила Родову свидетельством о политической благонадежности и зацепкой. Начальство стало к нему благоволить. И вот, по мере того, как увядали последние надежды на поэтическую карьеру, открывалась перед Родовым карьера литературно-административная. Он уже пописывал какие-то статейки, что-то редактировал. В своих писаниях и действиях постепенно он становился все круче, все более проявлял марксистского рвения. В конце 1923 года сделался он одним из вдохновителей и руководителей журнала «На посту», в котором ожесточенно нападал не только на нас, «пережитков буржуазной эпохи» и «классовых врагов в литературе», но и на пролетарских писателей, которых изобличал в непонимании классовых задач. Словом — и старым, и новым одинаково мстил он за то, что его поэзия провалилась. Затем он сделался одним из зачинателей ВАППА — всероссийской ассоциации пролетарских писателей — и чуть ли не состоял одно время ее председателем. В качестве последнего приобрел он большую власть и очутился одним из пионеров классического советского доносительства. Покойный писатель Андрей Соболь, приезжавший за границу в начале 1925 г., от лица пролетарских и непролетарских писателей умолял Горького что-нибудь сделать для обуздания Семена Родова, от которого одно время в Москве «не стало житья» по точному выражению

Соболя. Я тогда же написал о Родове в одной эмигрантской газете.

Вдруг что-то в его карьере сломалось, оборвалось, по причинам, о которых я могу только догадываться. Он очутился редактором не то какой-то газеты, не то журнальчика в Сибири. Уже несколько лет о нем ничего не слышно. Однако перед тем, как исчезнуть, он успел многим и многому отплатить за то, что человечество не оценило его поэтического таланта.

1935 г.

БОРИС САДОВСКОЙ

Умер Борис Садовской, поэт, беллетрист, историк литературы. Я узнал, что он умер, случайно, в разговоре, и не мог даже выяснить, когда именно это случилось. Может быть, месяц тому назад, а может быть — год. Ни в одном советском издании, кажется, не писали о том ни строчки. Здесь не писали тоже.

В 1913 году, пишучи цикл стихов под общим заглавием «Самовар», последнее стихотворение закончил он пожеланием умереть

Тихой смертью от угара.

В этом стихе затаена была очень грустная мысль. Уже тогда, 12 лет назад, Садовской знал, что легкая, безболезненная кончина вряд ли ему суждена. Болезнь, сгубившая Гейне, Ницше, Языкова,— давала уже себя знать, Садовской очень деятельно лечился, но все, конечно, было напрасно. С 1915 года начались местные параличи (в руке, в ноге), а в 1916 году он слег окончательно, чтобы 8 или 9 последних лет провести в «матрацной могиле». Теперь, говорят, он умер на больничной койке, в том самом Нижнем-Новгороде, где в 1881 году родился.

Если не ошибаюсь, он начал печататься в 1904 году, в «Весах», преимущественно в библиографическом отделе. На первых порах он попал под деспотическое влияние Брюсова и принадлежал к числу тех «литературных мальчиков», как их тогда называли, которые, сами того не замечая, были послушным орудием в руках Брюсова. Через несколько лет, однако, Садовской «вырос», стал проявлять

независимость — и его отношения с Брюсовым испортились навсегда.

Стать выдающимся, исключительно крупным писателем Садовскому не было суждено. Помимо размеров и свойств его дарования, в этом, мне думается, сыграла большую роль и его болезнь. Она не только подтачивала его силы и не давала развиваться, но и почти совсем вывела его из литературного строя, приблизительно около 1916 года, т.е. на 35 году жизни и всего на 12 году писательства.

Тем не менее, незаметной фигурой назвать его никак невозможно. Конечно, ни школы, ни даже группы, ни даже, пожалуй, своего, ему лишь присущего стиля, Садовскому создать не довелось. Он прошел без влияния. Больше того: неизменно выступая на стороне так называемой «символистской» (не точнее ли говорить — «модернистской»?) фаланги, порою даже в стиле её самых деятельных застрельщиков,— сам Садовской, по своим писаниям, вряд ли вполне может быть отнесен к этой фаланге. Его истинные учителя не Бальмонт, не Брюсов, а Пушкин, Фет, Вяземский, Державин. Если бы модернистов не существовало вовсе,— Садовской был бы таков же, или почти таков же, каков он был. Можно, пожалуй, сказать, что Садовской поэт более девятнадцатого столетия, нежели двадцатого.

Вероятно, его дарование, как поэта, было невелико. Но оно было в высшей степени гармонично. Он умел не браться за темы, которые были бы больше его, не ставил себе задач непосильных. Поэтому, он никогда не рисковал, так сказать, сорвать голос. Стихи его никогда не изумляли, не поражали, даже и не восхищали,— но это всегда была чистая и возвышенная поэзия. Точно учитывая свои силы, Садовской в поэзии был несколько сдержан, как был и в жизненном обиходе. Если угодно, лирика его была

даже суховата,— но зато читатель никогда не мог заподозрить Садовского в желании показаться не тем, что он есть,— в позерстве, притворстве, лжи. Садовской был *правдив.* А быть правдивым поэту труднее, чем об этом принято думать. В стихах своих Садовской говорил скромнее и меньше, чем мог бы сказать. А сколькие стихотворцы, порой прославленные, в уме и сердце имеют лишь малую долю того, о чем сочиняют.

Кроме шести, если не ошибаюсь, книг стихов («Позднее утро», «Пятьдесят лебедей», «Пять поэм», «Самовар», «Полдень», «Обитель смерти»), Садовской написал несколько томов прозы: «Узор чугунный», «Адмиралтейская игла», «Яблочный царек», «Двуглавый орел», «Лебединые клики». Как прозаика, его часто смешивали с так называемыми «стилизаторами». Это неверно. Лишь незначительная часть его рассказов («Из бумаг князя N..», «Три встречи с Пушкиным» и др.) могут быть названы стилизациями, т.е. представляют собою как бы документы, писанные не в нашу эпоху. Все прочее писано от лица нашего современника, и только сюжеты чаще всего взяты Садовским из XУIII и первой половины XIX столетий. Это была его излюбленная пора, изученная любовно и тщательно, описанная все с тою же присущей Садовскому сдержанностью,— но всегда — выразительно, четко, прозрачнейшим русским языком.

Параллелью к художественной прозе Садовского являются его историко-литературные и критические работы, частью разбросанные по журналам, частью объединенные в сборники: «Русская Камена», «Ледоход», «Озимь». Все это плоды того же пристрастия к отошедшей русской литературе, пристрастия, всегда проступавшего и в его оценках литературы новой.

Наиболее ценными мне представляются его работы над неизученными черновиками Фета. Садовскому же,

кстати сказать, принадлежит и первое опубликование документов и обстоятельств, относящихся к предсмертным минутам Фета. Как историк литературы, Садовской мог гордиться любовью П.И.Бартенева и М.О.Гершензона.

* * *

В литературных кругах его порой недолюбливали. Это было несправедливо, но причин тому было несколько. В обращении был он очень сдержан, пожалуй — холоден, но это потому, что до щепетильности был целомудрен в проявлении всякого чувства. К тому же был самолюбив и побаивался, что его протянутая рука повиснет в воздухе. Запанибратства, столь свойственного российской дружбе, боялся он всего пуще. Лично мои отношения с ним тоже начались с чего-то, похожего на тайную неприязнь. Но однажды, в году 1912, разговорились в редакции «Мусагета» — и прорвалось что-то: стали друзьями — и уже навсегда.

Второй, очень важной, причиной его неладов с литераторами, были политические тяготения Садовского. Я нарочно говорю — тяготения, а не взгляды, потому что взглядов, т.е. убеждений, основанных на теории, на строго обдуманном историческом изучении, у него, пожалуй, и не было. Однако ж, любил он подчеркивать свой монархизм, свою крайнюю реакционность. Мне кажется, повторяю, что тут им руководило скорее эстетическое любование старой, великодержавной Россией, даже влюбленность в нее,— нежели серьезно обдуманное политическое мировоззрение. Как бы то ни было, монархизм в эпоху 1905-1917 гг. был слишком непопулярен, и для писателя не мог пройти

безнаказанно. Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности — ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права; притворялся антисемитом, а мне признавался, что в действительности, не любит одних лишь выкрестов; когда я переводил Бялика, Черниховского — их поэзией Садовской восхищался.

Конечно, во всем этом было много ненужного озорства. Но как холодностью, сухостью прикрывал он доброе, отзывчивое дружеское сердце, так под вызывающей крепостнической позой прятал огромнейшую, благоговейную, порою мучительную любовь к России. Никогда не забуду, как встретились мы однажды в «Летучей мыши» на репетиции. Кажется, было это осенью 1916 года. Вдребезги больной, едва передвигающий ноги, обутые в валенки (башмаков уже не мог носить), поминутно оступающийся, падающий, Садовской увел меня в едва освещенный угол пустой столовой, сел за длинный, дубовый, ничем не покрытый стол — и под звуки какой-то «Катеньки», доносящейся из зрительного зала,— заговорил. С болью, с отчаянием говорил о войне, со злобной ненавистью — о Николае II. И заплакал, а плачущий Садовской — не легкое и не частое зрелище. Потом утер слезы, поглядел на меня и сказал с улыбкой:

— Это все вы Россию сгубили, проклятые либералы. Ну, да уж Бог с вами.

В последний раз я видел его летом 1917 года, в лечебнице Майкова. Он приезжал из Нижнего лечить ногу, сломанную при падении. Я ходил к нему с Гершензоном, которого теперь тоже нет уже. Совершенно лысый, с большой бородой, неожиданно темной (Садовской был белокур), он сидел на кровати,

рассказывал, что изучает отцов церкви, а также много переводит с польского и английского. Очень бодрился, рассказывал о кружке молодежи, который в Нижнем собирается возле его постели — слушать лекции о русской поэзии. Но чувствовалось, что это свидание — последнее. Так и было. Я больше его не видел. Он вскоре уехал в Нижний, слег и уже не встал до кончины. Писал редко, едва выводя карандашные каракули, а то и вовсе диктуя. В конце 1918 года произошла между нами размолвка. Я послал ему приглашение участвовать в журнале «Москва», одном из последних частных периодических изданий. Садовской ответил отказом, сообщая, что дал зарок не печатать ни строчки, пока не сгинут большевики. На мои возражения он прислал новое письмо, в котором называл меня большевиком и заявлял, что прекращает всякие отношения со мною и с Гершензоном. Писал, что ему нет дела до Брюсовского большевизма: на то Брюсов — демон; нет дела до Белого: на то Белый — ангел, а вот, как не стыдно нам с Гершензоном, людям?

Обвинение было несправедливо и безоглядно. Мы решили смолчать и дать Садовскому опомниться. Через полгода он сам написал нам обоим — и дружба восстановилась. Летом 1920 года я хлопотал о некоторых делах его. Потом, по его поручению, послал ему шоколаду, но уж ответа не получил. В трудностях того времени было не до писем. Потом я уехал за границу. Думаю, что последние годы его жизни были ужасны. Если так страдали здоровые, то как должен был страдать он, в голоде, в холоде, разбитый параличем, видящий гибель и оплевание всего, что было для него свято: России, литературы. За эти страдания простятся ему все грехи, ежели они были. Те, кто знал его хорошо и близко, навсегда сберегут о нем память самую дружескую, самую любовную.

1925 г.

СОФИЯ ПАРНОК

В маленьком поэтическом альманахе, которого уже не помню теперь названия и который вышел в Петербурге летом 1906, а может быть, 1905 года, среди расхожих, обыкновенных стихов символической поры, отмеченных расплывчатостью мысли и неточностью словаря (я и сам писал тогда именно такие стихи) — вдруг внимание мое остановило небольшое стихотворение, стоящее как-то особняком. В нем отчетливость мысли сочеталась с такой же отчетливой формой, слегка надломленной и парадоксальной, но как нельзя более выразительной. Между бледными подражаниями Бальмонту, Брюсову, Сологубу и недавно появившемуся Блоку, пьеска выделялась своеобразием. Теперь я ее забыл, но тогда она мне запомнилась так же, как имя автора: С.Парнок. После того я довольно долго нигде не встречал этой подписи. У приезжавших в Москву петербуржцев спрашивал, знают ли они такого поэта — никто не знал. Только шесть или семь лет спустя знакомое имя вновь появилось. Поэт оказался поэтессой. Стихи Софии Парнок стали печататься в новом толстом журнале «Северные Записки», издававшемся в Петербурге под редакцией С.И.Чацкиной. В «Северных Записках» я и сам немного сотрудничал. В его критическом отделе был помещен ряд статей, подписанных Андреем Поляниным. Они принадлежали той же Софии Яковлевне Парнок. В эпоху войны перебралась она жить в Москву, мы с ней познакомились, а вскоре и подружились.

Ею было издано несколько книг стихов, неизвестных широкой публике,— тем хуже для публики. В ее поэзии, впрочем, не было ничего такого, что могло бы поразить или хотя бы занять рядового читателя. Однако ж, любители поэзии умели найти в ее стихах то «необщее выражение», которым стихи только и держатся. Не представляя собой поэтической индивидуальности слишком резкой, бросающейся в глаза, Парнок в то же время была далека от какой бы то ни было подражательности. Ее стихи, всегда умные, всегда точные, с некоторою склонностью к неожиданным рифмам, имели как бы особый свой «почерк» и отличались той мужественной четкостью, которой так часто недостает именно поэтессам. К несчастью, говоря об ее стихах, я вынужден ограничиться этими общими замечаниями, сделанными по памяти, по тому впечатлению, которое у меня сохранилось. Не могу быть более точным, потому что не могу перечесть их: у меня под рукой нет ни строчки.

Среднего, скорее даже небольшого роста, с белокурыми волосами, зачесанными на косой пробор и на затылке связанными простым узлом; с бледным лицом, которое, казалось, никогда не было молодо, София Яковлевна не была хороша собой. Но было что-то обаятельное и необыкновенно благородное в ее серых, выпуклых глазах, смотрящих пристально, в ее тяжеловатом, «лермонтовском» взгляде, в повороте головы, слегка надменном, в незвучном, но мягком, довольно низком голосе. Ее суждения были независимы, разговор прям. Меня с нею связывали несколько лет безоблачной дружбы, которой я вправе гордиться и которую вспоминаю с глубокой сердечной благодарностью.

Я видел ее в последний раз летом 1922 года, за несколько дней до отъезда из России. Заходил к ней проститься накануне самого отъезда — и не застал

дома. Несколько времени мы переписывались — пока можно было со мной переписываться. Она жаловалась на тяжелую жизнь, на изнурительную и одуряющую советскую службу. 26 августа она умерла. С великою горестью перечитываю ее письма, написанные на обрывках желтой, шероховатой советской бумаги, и перекладываю их в конверт, где хранятся у меня письма умерших. Несколько лет тому назад в нем было всего несколько листков. Теперь он уже довольно толст и увесист. Тяжестью он лежит на душе и памяти.

1933 г.

СЕРГЕЙ КРЕЧЕТОВ И «ГРИФ»

С Сергеем Кречетовым, скончавшимся 14 мая в Париже, познакомился я давно: весной 1902 года. Был он тогда молодым помощником присяжного поверенного, я — гимназистом шестого класса. Ему было тогда двадцать три, мне — шестнадцать. Несмотря на разницу лет, положений, характеров, взглядов, мы подружились. Нас сблизило общее увлечение поэзией. В ту пору я писал стихи «для себя» и показывал их лишь ближайшим приятелям — товарищам по гимназии: Александру Брюсову (брату Валерия) и Виктору Гофману, на которого, впрочем, я смотрел снизу вверх: он был одним классом старше меня, он уже напечатал несколько стихотворений в «Русском листке» и еще где-то, а, главное,— в том же 1902 г. его стихи появились в «Северных Цветах», издаваемых «Скорпионом» под редакцией Валерия Брюсова. Сергей Кречетов уже выступал со своими стихами публично и собирался их печатать. Весной 1903 г. им было основано книгоиздательство «Гриф»: новое пристанище литературной молодежи.

Брюсов тотчас ополчился против «Грифа», обвиняя его в эпигонстве и в повторении того, что уже сделано «Скорпионом». Была некоторая кажущаяся правота в этих обвинениях, потому что, действительно, первоначальный модернизм к тому времени уже сложился в определенную литературную школу, осознал себя, внутренне окреп. Брюсов, однако же, глубоко заблуждался, полагая, будто его внутреннее развитие закончено. Если, действительно, к тому

времени вполне уже себя выразили (да и то все же вовсе не исчерпали) старшие модернисты, как Брюсов, Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, то этим была внутренне завершена лишь первая, декадентская эпоха модернизма. Вторая, наиболее значительная, символистсткая, только еще зарождалась в возникающем творчестве Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока.

Отсюда вовсе не следует, что именно «Грифу» было суждено стать колыбелью символизма: этого не случилось — по причинам, которых я коснусь несколько ниже, но само то обстоятельство, что в момент основания «Грифа» все символистское развитие модернизма было еще впереди, доказывает, насколько неправ был Брюсов, заранее объявляя, что «Грифу» нечего делать, как только повторять путь, уже пройденный «Скорпионом». Нужно заметить, однако, что помимо этого добросовестного заблуждения, Брюсовым руководили также и другие мотивы: он чрезвычайно ревниво относился к своему положению главаря новой школы и в возникновении нового издательства видел угрозу этому положению. Он сам наотрез отказался участвовать в «Грифе» и пытался сделать так, чтобы в нем не участвовали другие сотрудники «Скорпиона». Эта попытка тотчас же провалилась: отчасти потому, что растущему модернизму было тесно уже в одном «Скорпионе», но, главным образом, потому, что личное небескорыстие Брюсова было слишком для всех очевидно. Из сотрудников «Скорпиона» в первом альманахе «Грифа» участвовали: Бальмот, Вячеслав Иванов, Блок, Белый, Виктор Гофман, А. Миропольский.

Я сказал выше, что «Грифу» не суждено было стать колыбелью символизма, то есть сделаться центром, из которого развивалось бы новое течение модернизма. Это произошло по причине, которую нетрудно было предвидеть: Сергей Кречетов обладал большими организаторскими способностями, но ни как поэт, ни

как теоретик он, разумеется, ни в малейшей степени не мог соперничать с Брюсовым. При самой горячей любви к поэзии, он все-таки был дилетантом. Дилетантство и недостаточная образованность нередко ставили его в затруднительное положение.

В воспоминаниях Белого и в переписке Блока сказано о нем много резкого. В значительной степени эти резкости, однако же, преувеличены, что объясняется у Белого — позднейшими личными неладами, а у Блока — влиянием Белого и отсутствием исторической перспективы. Как руководитель издательства, а впоследствии — как редактор «Золотого Руна» и «Перевала», им организованных журналов, он совершил ряд промахов. Между прочим, когда в 1908 году Блок прислал ему пачку стихов с предложением отобрать несколько стихотворений для «Перевала», а остальные вернуть, в число возвращенных попала «Незнакомка». Однако, не следует забывать, что ошибки того же порядка совершались и самим Брюсовым, и «Стихи о Прекрасной Даме», первая книга Блока, не случайно была издана в 1905 году «Грифом», а не «Скорпионом»: Кречетов чрезвычайно высоко ставил Блока в ту самую пору, когда Брюсов к нему относился весьма критически и не склонен был считать его ценным сотрудником. Этого мало: в том же самом «Перевале» начали появляться стихи автора, который незадолго до того, под скромным псевдонимом «Ник. Т —о», выпустил никем не замеченную книжечку «Тихие песни». Этот автор был Иннокентий Анненский. Впоследствии «Гриф» выпустил первое издание его «Кипарисового ларца»: заслуга огромная, неоспоримая, неотъемлемая, которой одной хватило бы на то, чтобы с избытком покрыть все издательские промахи Кречетова.

Однажды начавшись, редакторское соперничество Брюсова с Кречетовым не прекращалось долго —

почти — до самой войны. Не раз мне казалось, что этим соперничеством следует объяснять и возникновение «Весов», журнала, руководимого Брюсовым и сыгравшего столь большую роль в истории символизма. Учреждая «Весы», Брюсов сделал чрезвычайно ловкий маневр: пользуясь слабостью и неавторитетностью Кречетова, как теоретика, он, так сказать, перехватил у «Грифа» те возможности, которые перед ним открывались и закрепил за собой, если не внутреннее, то организационное руководство движением, о возникновении которого узнал только в связи с возникновением «Грифа». Этим объясняется то, что в качестве редактора «Весов» Брюсов очутился возглавителем символизма, которому, в сущности, был глубоко чужд. С другой стороны, то обстоятельство, что во главе «Весов» стоял Брюсов, придало этому журналу модернистски-эклектический характер и помешало отчетливому расчленению модернизма на декаденство и символизм, о чем весьма приходится пожалеть, потому что именно, благодаря влиянию Брюсова, декадентское наследие тяготело над символизмом во все время его существования.

Именно потому, что расчленение модернизма не совершилось, книгоиздательство «Гриф» приняло такой же эклектический характер, какой Брюсов успел придать «Скорпиону». В обоих издательствах печатались приблизительно одни и те же авторы. В числе книг, впервые выпущенных «Грифом», надо отметить, помимо упомянутых выше, «Только любовь», «Горные вершины», «Литургию красоты» и «Фейные сказки» Бальмонта, «Возврат» и «Урну» А.Белого, «Истлевающие личины» и «Книгу сказок» Федора Сологуба. Уже в предвоенные годы «Гриф» издал ряд книг Игоря Северянина, начиная с «Громокипящего кубка». Лично я обязан Кречетову вечною благодарностью за сочувствие, оказанное им в годы моей литературной юности: в 1905 году он сам предложил мне дать стихи в третий альманах «Грифа»:

это и было мое первое выступление в печати. В 1908 году он выпустил мою первую книгу стихов.

Книгоиздательство «Гриф» существовало до самой войны. Ко времени революции выпущенные им книги были распроданы полностью и, наряду с изданиями «Скорпиона», высоко ценились библиофилами.

1937 г.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Было мне двадцать лет. Я жил в Москве, писал декадентские стихи и ничему не удивлялся, предпочитая удивлять других.

Однажды в Литературно-Художественном Кружке ко мне подошла незнакомая пожилая дама, вручила письмо, просила его прочесть и немедленно дать ответ. Письмо было, приблизительно, таково:

«Вы угнетаете М. и бьете ее. Я люблю ее. Я Вас вызываю. Как оружие, предлагаю рапиры. Сообщите подательнице сего, где и когда она может встретиться с Вашими секундантами. Мариэтта Шагинян».

Я сделал вид, что не удивился, но на всякий случай спросил:

Это серьезно?

Вполне.

Я не был знаком с Шагинян, знал только ее в лицо. Тогда, в 1907 году, это была черненькая барышня, усердная посетительница концертов, лекций и прочего. Говорили — пишет стихи. С М., о которой шла речь в письме, Шагинян тоже не была знакома, только донимала ее экстатическими письмами, объяснениями в любви, заявлениями о готовности «защищать до последней капли крови»,— в чем, разумеется, М. не имела ни малейшей надобности.

Я спрятал письмо в карман и сказал секундантше:

— Передайте г-же Шагинян, что я с барышнями не дерусь.

Месяца через три швейцар мне вручил букетик фиалок:

— Занесла барышня, черняvenькая, глухая, велела вам передать, а фамилии не сказала.

Так мы помирились,— а знакомы всё не были. Еще через несколько месяцев познакомились. Потом подружились.

Мне нравилась Мариэтта. Это, можно сказать, была ходячая восемнадцатилетняя путаница из бесчисленных идей, из всевозможнейших «измов» и «анств», которые она схватывала на лету и усваивала стремительно, чтобы стремительно же отбросить. Кроме того, она писала стихи, изучала теорию музыки и занималась фехтованием, а также, кажется, математикой. В идеях, теориях, школах, науках и направлениях она разбиралась плохо, но всегда была чем-нибудь обуреваема. Так же плохо разбиралась и в людях, в их отношениях, но имела доброе сердце и, размахивая картонным мечом, то и дело мчалась кого-нибудь защищать или поражать. И как-то всегда выходило так, что в конце концов она поражала добродетель и защищала злодея. Но все это делалось от чистого сердца и с наилучшими намерениями.

Неизменно пребывая в экстатическом состоянии человека, наконец-то обретшего истину, она столь же неизменно жалела меня, как пребывающего в безвыходных заблуждениях. Качала головой, приговаривала:

Ах, бедный Владя! Что мне с вами делать?

— Спасибо вам, Мариэтта, но я вовсе не погибаю.

— Нет, вы погибаете. Это очень печально, но это так.

Под конец, я перестал спорить: понял, что нравится ей играть, будто я гибну, а она будто это видит, только помочь не может. Так это навсегда и осталось.

Она всегда была от кого-нибудь «без ума». Иногда это были люди, вовсе ей незнакомые, как, например, та М., из-за которой мы должны были драться на рапирах. В начале нашего знакомства кумиром был С.В. Потресов-Яблоновский.

— Это изумительный человек, Владя. Надо его знать, как я знаю.

— Я очень уважаю Сергея Викторовича...
— Нет, вы не можете его оценить. Молчите.
— Я...
— Прошу вас, молчите. Вы совершенно погибаете, бедный Владя. Что с Вами делать?

Труднее всего приходилось мне, когда С.В. Яблоновского сменила З.Н. Гиппиус. Немедленно выяснилось, что я: 1) безнадёжно темен в делах религии, 2) поставил своею целью искоренить христианство, и, что всего хуже 3) злоумышляю против З.Н. Гиппиус лично, так ее ненавижу. Никаких оправданий Мариэтта не слушала. И не успевал я раскрыть рот — Мариэтта уже обличает меня:
— Опомнитесь, Владя. Подумайте, что вас ждет. Как ужасно, что вы погибли!

Лишь после долгих уверений и покаянных вздохов моих, мне было позволено издали смотреть на коробочку с письмами З.Н. и на ее портрет.

Вдруг, кажется, в конце 1909 года, Андрей Белый сменил З.Н. Гиппиус. Мариэтта не была, или почти не была с ним знакома. Зато, в зимние ночи, в шубе и в меховой шапочке, которую, кланяясь, снимала она-по-мужски, с толщенной дубинкой в руках Мариэтта часами сиживала на тумбе в Никольском переулке, невдалеке от беловского подъезда.
— Представьте, вчера меня приняли за дворника!

Мне позволялось говорить о Белом, пока Мариэтта не познакомилась с ним. С этого дня оказалось, что между ними какие-то такие чрезвычайные отношения «о последнем», что всякое мое приближение к этой теме — кощунство. И опять:
— Владя, вы погибаете!

Безгранично было количество писем к Белому. Непроницаема была тайна их разговоров. Я бывал у Белого, он у меня. Но Мариэтта пуще всего на свете боялась, как бы я с ним не встретился у нее. Нас она

принимала порознь, — все, что касалось Белого, было окружено мраком и шепотом.

Это был вообще почему-то период тайн. Мариэтта снимала комнату в каком-то огромном, зловещем, полуразрушенном особняке, в глубине церковного двора. К ней надо было проходить какими-то кухнями, залами, закоулками, в которых, вероятно, летали летучие мыши. Крыс, во всяком случае, были целые полчища. Старая, грязная, черная, бородатая женщина, цыганка, армянка или еврейка, вечно пьяная, была квартирной хозяйкой. Однажды я постучал в дверь к Мариэтте. Она высунула голову:

— Это вы? Сейчас нельзя. Подождите. Пойдите по коридору, вторая дверь налево. Это чулан. Там темно. Против двери сундук. Сядьте на него и не шевелитесь, а то что-нибудь опрокинете. Я вас позову.

Ощупью нашел дверь, вошел. На сундуке смутно виден какой-то тюк, вероятно — узел с одеждой. Я взобрался на него и сижу. Темно. Вдруг подо мною зашевелилось, и женский пропойный бас произнес:

— Кто там на минэ сидит?

Рекомендоваться в подобных случаях нет никакого смысла. Но я растерялся, посмотрел на свое студенческое пальто и, не слезая с дамы, ответил обще:

Студент.

Мариэтта пришла за мной. Я рассказал ей о приключении. Она сделала печальное лицо:

Все это ничуть не смешно. Вы погибли, Владя. Но хуже всего, что Боря (Андрей Белый) тоже погиб. А для вас я устрою елочку.

И устроила. Угощала пряниками, жалела:

Ничего-то вы, бедняжка, не понимаете.

После Андрея Белого шел Рахманинов. Мариэтта читала мне лекции о музыке, качала головой:

Бедный Владя, бедный Владя!

За Рахманиновым Э.К. Метнер. Следовательно, мы говорили о Гете. Мариэтта убивалась:

— Бедняжка, вы погибаете: вы совсем не так понимаете вторую часть Фауста!

Так дожили мы до 1911 года — и неожиданно почти потеряли друг друга из виду.

В конце 1920 г., уже в Петербурге, однажды мне показали номер тамошней «Правды» с отвратительнейшим доносом на интеллигенцию, которая, чтобы насолить большевикам, «сама себя саботирует»,— припрятывает продукты, мыло, голодает и вымирает назло большевикам, а могла бы жить припеваючи. Подпись: Мариэтта Шагинян.

Через несколько дней встречаю ее. Спрашиваю,— как ей не стыдно. Говорю, что пора бы уже вырасти. Она хватается за голову:

— Донос? Ах, что я наделала! Это ужасно! Я только что из Ростова, я ничего не знаю, как у вас тут. Я хотела образумить интеллигенцию, для нее же самой. Все мы в долгу перед народом, надо служить народу. Массы... Маркс... Иисус Христос... Товарищ Антонов...

Выяснилось: на юге она писала патриотические статьи. Но пришли большевики, и она познакомилась с каким-то добродетельным товарищем Антоновым (кажется, так), этаким большевистским Робеспьером, неподкупным до последней степени. И конечно — сделалась большевичкой. Исполкомские мудрости перепутались в ней с христианством, народничеством и прочим, оставшимся еще от былых времен. О своем фельетоне она сокрушалась:

— Значит, это тактическая ошибка. Но по существу я права. Ах, бедный Владя, как жаль, что вы еще не сделались коммунистом!

Вскоре она поселилась в «Доме искусств», где я жил. Ходила к большевикам проповедовать христианство. Ходила ко мне — восхищаться А.Л. Волынским. Развенчала Волынского. Влюбилась в почтеннейшего Л.Г. Дейча. Глухота ее сильно увеличилась. Чтобы с ней говорить, надо было садиться рядом, вплотную. В

ее огромной холодной комнате часами сиживали они с Дейчем. Мариэтта рассказывала:

— Это святой старик! Он учит меня марксизму, а я его — христианству. А вы... бедный Владя, вы погибаете!

В то время я много писал стихов. Иногда, по старой памяти, показывал их Мариэтте. Она прочитывала, качала головой:

— Ваши стихи больше вас. Вы сами не понимаете того, что пишете. Когда-нибудь я вам объясню...

По обыкновению, кидалась она защищать угнетенных, помогать слабым,— всегда невпопад. Возлюбила мерзкую, грязную бабу, одну из горничных. Получая много пайков, делилась с этой же горничной, которая была известна тем, что обкрадывала обитателей «Дома искусств», голодных писателей. Наконец, дочиста обокрала и Шагинян.

«Писательских» пайков было в Петербурге 25. Когда я туда перебрался, они были разобраны. Было решено дать мне паек Блока или Гумилева, а одного из них перевести на «ученый», т.к. они читали лекции в разных тогдашних институтах. Остановились на Гумилеве, что для него было даже выгодно, ибо «ученым» выдавалась одежда, которой писатели не получали.

Однажды, дня через два, сидели мы с Шагинян в приемной «Всемирной Литературы», у окна, на плетеном диванчике. Вошел Гумилев, неся какие-то щетки. Я спрашиваю: — Что это у вас за щетки?

Гумилев улыбается и отвечает:

— В «Доме Ученых» выдали. Ведь писательский паек у меня отняли, вот и приходится пробавляться щетками.

Это было вскоре после появления Мариэтты в Петербурге. Она услышала разговор, и когда Гумилев прошел мимо, спросила взволнованно:

— Владя, кто это?

— Гумилев.

— А почему у него отняли паек?
— Отдали другому.
— Кому?
— Мне.
— Владя, как вам не стыдно! И вы взяли?
— Ничего не поделаешь, Мариэтта; борьба за существование.
— Владя, это бессовестно!

Она готова была куда-то помчаться, протестовать, вступаться за Гумилева. Я с трудом объяснил ей, в чем дело. Успокоившись, она погладила меня по голове и сказала:

— Бедный Владя, вы все такой же заблудший.

А когда Гумилева убили, она не постеснялась административным путем выселить его вдову и занять гумилевские комнаты, вселив туда своих родственников... Тоже — с размаху и не подумав.

* * * * *

Все это вспомнилось мне по поводу фразы, которую Шагинян напечатала недавно в каком-то советском журнале: «Многие из нас, не поняв, что потеряли читателя, вообразили, что потеряли свободу».

По поводу этой фразы я слышал немало негодующих слов. Сама по себе она, конечно, отвратительна. Но я вспоминаю автора — и мне хочется улыбнуться. Не без горечи, может быть,— но все-таки улыбнуться.

Бедная Мариэтта! Она, несомненно, думает, будто к этой мысли пришла таким-то и таким-то путем, а высказала ее потому-то и потому-то. А я знаю, что «путей» никаких не было, а была и есть обычная путаница в ее голове. И фразу эту злосчастную, конечно, она не «высказала», а выпалила, по обычаю — невпопад, по обычаю — с чужих слов,

которые она умеет повторять или развивать даже совсем не без таланта.

Кто знает имя ее сегодняшнего кумира? И что сама она понимает в этом кумире? Под чью диктовку пишет она свои статьи, сама этого не замечая? Под чью диктовку будет писать их завтра?

1924 г.

III

ГОРЬКИЙ

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в «Современных Записках» воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания заграницей, начиная с 1921 г., либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время своего пребывания заграницей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так. Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни — потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие — потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной части прошла у

меня на глазах, мне показалось, что мой долг сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким. Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммою данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе — писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

* *
*

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведывать московским отделением издательства «Всемирная Литература», только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя

протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому проводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А.Н. Тихонова и З.И. Гржебина.

«Всемирная Литература» числилась состоящей «при народном комиссариате по просвещению», но фактически была автономна. Вся связь между нею и наркомпросом выражалась в том, что правительсто оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 г., ассигновки на «Всемирную Литературу» шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н...однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: «На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной Литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного Правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать».

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном Издательстве. Кроме того, деньги Временного Правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и

расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах красной армии. Поэтому я ответил Н..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств Н... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведывал им В.В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой — может быть, даже слегка подвивал ее — и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

— Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

— Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько

времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в «Правде» (а может быть — в «Известиях») появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающего себе карманы на заказах советского правительства — в частности комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами «Всемирной Литературы», с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу,— и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький. Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так наз. Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа. Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было бы справедливо, потому, что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева — не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В.Э.Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, сымпровизировал я на эту тему целую былину, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
«Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш, скоморошина!
Ты седлай свово коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет вымести,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!»
Седлал Марахол коня борзого
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю — и т.д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же казалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 г., когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведывать «Всемирной Литературой». На мой утвердительный ответ она сказала:

— Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников — и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

* *
*

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург, как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917-1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты «Новая Жизнь», отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и

одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям. Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького, как писателя, а Зиновьева — как испытанного большевика, который был ему нужнее. Недавно в журнале «Звезда» один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу — отдыхать и лечиться.

Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за «врагов» и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали Горьковскую переписку — в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать — об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький. Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозится арестовать «некоторых людей, близких к Горькому». Кто здесь имелся в виду? Несомненно — Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно и то, что замышлялся еще один удар — можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта — воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует между прочим одна русская дама — под условным именем Мара.

Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила «домашнее», но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором шла речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски — с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: «вы это вынули из моего рта», «он сел на свои большие лошади» и т.п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведывала бар. В.И.Икскуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 г. ее муж был убит крестьянами у себя в имении — под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь. В момент октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с

Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу.

Покидая Россию, Локкарт не мог ее взять с собой. Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во «Всемирной Литературе» и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать заграницу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большею частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами. У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встречным рабочим, кричали:

— Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им

спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева — не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решился ехать в Москву. По-видимому, он надеялся, что на этот раз Зиновьеву не сдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом. Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком — по мнению Горького симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожурили и отпустили с миром. Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

* *
*

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким,— о необходимости выпустить заграницу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав

об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что же вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем, как Блок — поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Таймс'е, а Сологуб — наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов — и т.д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря: «Пойдемте, я вам покажу штуковину»,— и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: «Каково? Хорошо?» Прочитав, я сказал: «Осел». — «Не осел, а сукин сын»,— возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: «Извините, пожалуйста». (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял).

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: «Ослы! Ослы!»

Все это лето он был в подавленном настроении. Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальный: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю — меня не было в Петербурге, я вернулся туда только

после того, как осужденные были уже расстреляны. Однако на основании самых достоверных источников, я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя по обыкновению своему не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило. Между тем, на него надвигалась еще беда, еще одно поражение — может быть, самое тяжкое из всех понесенных им в Кремле.

Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле, наконец, переполошились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворявшийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье. Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский Комитет Помощи Голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Прокукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет

писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т.д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось — лиха беда начать, а уж там, однажды вступив в контакт с «живыми силами страны», советская власть будет в этом направлении эволюционировать,— замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло «весной», точь-в-точь, как в 1904 году. Скептиков не слушали. Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда заграницей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь «председателя». При этой оказии кто-то что-то еще сказал, кто-то успел отпустить «смелую» шуточку, а затем отправились в тюрьму. Горький был в это время в Москве — а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

— Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случалось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький, наконец, понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

* *
*

Я собрался заграницу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею

Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: «Если это удобно для вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду видеть Вас и рад, что Вы, наконец, отдохнете». Затем шла удивившая меня фраза: „До свидания со мной — подождите принимать предложения «Накануне»".

Как все помнят, «Накануне» была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Толстого я еще не видал, и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я все понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: «Эх, хорошо бы его сюда вызволить!»

В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей заграницу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в Кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос — где же написать? — он ответил: «Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная». После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднею осенью Горький меня убедил переселиться в городок Сааров, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров). Надо принять во внимание, что до 1922 г. в России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные все откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в сов. России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима. Издательство «Слово» выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал «Сполохи». Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в «Современные Записки». Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии. Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд

берлинских издательств взорвался на этой мине. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т.д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии. Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составилась из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали «Беседой», в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство «Эпоха», основанное на средства меньшевика Д.

«Эпоха» тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое. Весной 1923 г. появилась первая книжка «Беседы». За ней последовала вторая. «Международная книга», берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, приобретала наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что как только будет получено разрешение на ввоз «Беседы» в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма — не знаю, кому,— при мне говорил о «Беседе» с приезжавшим в Сааров Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались обещания уладить дело и ссылки на канцелярскую волокиту. Тогда он решился на репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока «Беседу» не

пропустят в Россию. Этого решения он придерживался — даже р́егористически. Некто Лежнев еще ухитрялся издавать в Москве собственный журнал под смелым названием «Россия». Осенью 1923 г. он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: «Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...»

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в «Беседу». Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия. Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Кремле свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то, что кроме умирающего Ленина ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет — значило «испортить биографию», потерять ореол любимца «революционных масс» и титул «буревестника». Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать. Я двинулся в

Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала — просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться заграницей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же, и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе. Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это, как соблазнительный, но несбыточный поступок — вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может — до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправить по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною

письме. Выждав дня два она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату — «поболтать». Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы, в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но — Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет тратить деньги на глупости, кроме него у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, нам нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. «Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу,— несколько раз напоминала она,— но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот,— всячески смягчать отношения. Все это необходимо и для общего нашего мира»,— прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроение Алексея Максимовича внушает окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два — общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: «Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке». Мне показалась забавной такая забота о том,

чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине — были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий «Международной книгой» Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т.е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям. Как раз в это время Н.К. Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию «Беседу».

* *
*

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: «Беседа» допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела «Беседы», издание которой за

несколько месяцев до того стало единоличным делом С.Г.Сумского, находились в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С.Г.Сумский сообщил мне, что «Международная Книга» обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что «по-видимому, разрешение дано А.М. для утешения, «Беседу» приказано душить». Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после «разрешения», «Международная книга» купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3 номеров «Беседы» и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров: итого — восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную Библиотеку и Румянцевский Музей, имевшие право получать книги из заграницы без цензуры,— вернулись в Берлин с надписью: «Запрещено к ввозу». Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии,в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма и в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ГУМ (бывший Мюр и Мерилиз); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то,

что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского Музея). Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболь, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» — советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболю уйти — маска снималась. Соответственную личину надевал и Соболь при Горьком: ложь порождала ложь.

Однажды Соболь не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более заменяется политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходившей в Берлине под редакцией А.Ф.Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте,— возразил я,— ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда? — «Но я же **вас** знаю»,— ответил Горький. — «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей, напечатанной в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболь собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболю свой советский паспорт, по которому уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболь отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь полпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболь был совершенно уверен, что если бы секретарь пришлепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я показал ей вид с моего балкона — она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть — государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С

неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предначертаниях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самой настоящей кремлевской дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидала, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчиками — и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов — на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синематограф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по детски: зачем

давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны он предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я и до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную словесную точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот какая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно,— в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом,— когда был инструктором Всевобуча.

Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это — приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведывала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем — здрасьте пожалуйста! Вот мы раз выловили этих самых эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в «Днях» и в «Современных Записках»). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил мою коллекцию марок — у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь, мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок — Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: «Ту! Ту! Ту!».

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышленыш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т.д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. «Вот кстати! — говорит она.— Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю». Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, испробовал, хорошо ли тянет,— а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: «Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича».

Во все время ее пребывания было мне тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему. Однажды он мне сказал:

— Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека — ни звука).

— Что-ж, пускай едет, коли ему хочется,— сказал я.

Горький слегка рассердился:

— А когда их там всех перебьют, что будет? — спросил он. — Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают - за ним я поеду. А я не поеду, дудки.

И все же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь

она — важное лицо. «Молодец баба, ей-Богу!» — и собрав пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

— Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

— Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

— Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я все более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой. Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало «засыпанию рвов» и всему так называемому «движению возвращенчества».

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого, номера «Беседы». По этому поводу Горький писал мне: «Беседа» — кончилась. Очень жалко... По вопросу — огромнейшей важности вопросу! — о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый».

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию — по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения «Беседы» Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении «Беседы», а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: «Разрешение на «Беседу» было дано и книги в Россию допускались,— он писал. — Затем разрешение было опротестовано и аннулировано».Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем, мои предположения оказались верны. Запретив «Беседу», в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: «Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготовляется здесь, печатается — в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких

ограничительных условий Ионов пока не ставит». Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал типа «Беседы» в России нельзя издавать, потому что «типическая» черта «Беседы» в том и заключалась, что журнал издавался заграницей, и что «ограничительные условия» уже налицо, ибо наша «Беседа» издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Все это Горький, конечно, знал и без меня, но, по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 г. нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала «Русский Современник» — последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами журнала в России. Дух журнала был вольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали в нем и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг.Замятина, А.Н.Тихонова и К.Чуковского. В конце 1924 г., по выходе четвертой книжки, «Русский Современник» был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, все еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что «Русский Современник» — только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова «выжать». Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник

«Русского Современника», он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен «Русский Современник» и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: «Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском Совр.», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать».

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени,— ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное — чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что «Русский Современник» не разрешен и никогда разрешен не будет, и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой «Беседы» не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так «дешева работа»,— а просто заставят Горького печататься в «Красной Нови» и в других казенных журналах,— и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть — жить заграницей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей

Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решился не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я все понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников — и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 г. он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 г., когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможной поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться. Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал — и т.д. Все это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я все же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 г., основная причина была все-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Осознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством

вовсе,— но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит. Несомненно, что Мара, Е.П.Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличать от самой обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный «идеальный», отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какою он ее создал своим воображением,— мысль о возможной утрате этого образа, о «порче биографии», была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома— все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался,— но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни. Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция — она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти — нишу в кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на все это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что еще он пошел. Коротко сказать — он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознавал ли

он весь трагизм этого — не решаюсь сказать. Вероятно — и да, и нет, и вероятно — поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

1939 г.

ЗАВТРАК В СОРРЕНТО

В числе моих воспоминаний, связанных с Горьким, есть довольно забавные. Вот — одно из них, которое мне приходится озаглавить почти по-тургеневски: «Завтрак в Сорренто».

Действие происходит в 1925 году, но я начну с несколько более ранней поры.

Писателя X. (не русского, иностранного) встречал я у Горького еще в Германии, в 1922-1923 гг. Написал он всего две-три жиденьких книжечки каких-то заметок, отрывков о том, о сем. Однако был ужасно передовой, увлекался дадаизмом, сюрреализмом, коммунизмом, когда-то знаком был с Марселем Прустом, а главное — был чрезвычайно богат: имя его значится в числе даже не двухсот, а двух-трех богатейших фамилий. Разумеется, он везде был принят и всех принимал у себя. В его салоне банкиры и представители владетельных домов встречались с советскими писателями.

Порхая с идеи на идею, из салона в салон, любил он залетать и в чужие страны. В одно из таких его путешествий я с ним познакомился. Маленький, щупленький, на тоненьких ножках, с лысинкою, покрытой цыплячьим пухом, говорил он тоненьким голосом — словно мяукал. Было ему лет под сорок, но после обеда огромный лакей, состоявший при нем, уводил его в спальню (словно бы уносил под мышкой), под струей умывальника мылил и мыл ему ручки и мохнатым полотенцем вытирал пальчики. Лакей спал с ним в одной комнате, из которой наутро поклонник

Пруста и Ленина рысцою бежал по коридору — пить кофе, болтать о революции. Горький с ним обращался, как старый сенбернар с новорожденным котенком. Казалось, вот-вот возьмет он его зубами за шиворот и отнесет под лестницу к матери. X., однако же, хорохорился: дрыгал ножками и без умолку пищал о самоновейшем. Кому-то из наших дам посвятил он стихотворение в прозе: изображалось, как он, где-то в Сибири в страшную стужу, гуляет с этою дамою по берегу озера, тихие волны которого отражают меланхолическую луну и задумчивых лебедей, а с деревьев сыплется много снега, а ямщик идет сзади, звонит в колокольчик и поет тихую песню о Ленине. Само собой разумеется, что X. рекомендовался величайшим почитателем Горького. Болтовню его, впрочем, никто не слушал. Довольствовались тем, что благодаря своим связям он умел хорошо пристраивать книги Горького в иностранные издательства.

На Пасху 1925 г. английская королева (ныне вдовствующая) должна была приехать в Сорренто. Ожидали по этому поводу большого наплыва туристов. Семейный траур, однако же, удержал королеву в Англии. Соррентинское население приуныло — сезон был сорван. Хозяин прибрежного отеля, в котором для высоких гостей были сняты апартаменты, находился в состоянии, близком к отчаянию. Появление X., конечно, не могло его утешить, но все-таки X. появился и снял ту самую комнату, в которой должна была жить королева. Лакея на сей раз при нем не было, зато был ражий детина, которого он нам отрекомендовал в качестве своего друга. Друг был курчав, черноволос и смугл. Могучие формы выпирали из его одежды, явно снятой с чужого плеча. Из коротких рукавов вылезали огромные волосатые руки. За все время своего пребывания в Сорренто он не произнес ни слова. Глядел исподлобья. X. то и дело поглядывал

на него с кокетливой нежностью. По всему было заметно, что они познакомились несколько дней тому назад.

На вилле «Сорито», где жили мы с Горьким, счастливая чета появилась в страстную пятницу, к пятичасовому чаю. X., по обыкновению, щебетал, сучил ножками, рассказывал о недавних своих путешествиях, впечатлениях, встречах. Друг молча ходил по кабинету Горького. Максим, сын Горького, тихонько толкнул меня:

— Поглядывайте, как бы чего не спер.

Визит был непродолжителен. При прощании Горький пригласил обоих друзей к завтраку — послезавтра, в первый день католической Пасхи.

Гостей на «Сорито» бывало немного — а тут намечался целый прием. К завтраку, кроме X., ждали проф. Старкова с семейством (он жил по соседству), накануне приехала еще одна общая приятельница из Рима. Всего — человек семь гостей. Приготовления начались с утра. Обеденный стол был увеличен при помощи вставных досок. Расставлялись приборы, не хватало стульев, хозяйки были в волнении.

В ожидании завтрака я сидел у себя на балконе. День выдался пасмурный, душноватый. Надвигался сирокко.Вдруг к воротам подкатил запыленный, громоздкий автомобиль — такси из Неаполя. Я не мог разглядеть человека, который из него вышел: он стоял спиною ко мне и что-то говорил своему незримому спутнику, оставшемуся в машине. Потом он быстро вошел в ворота, а машина отъехала.

Из Неаполя в Сорренто ездят либо на пароходе, либо кружным путем — по железной дороге до Ка́стелламаре, а оттуда в трамвае. Появление неаполитанского такси свидетельствовало о том, что приезжий — человек новый в здешних местах. Кто же бы мог быть этот нежданный гость?

Вскоре в саду под моим балконом появился Максим. Я окликнул его:

— Кто приехал?

— Консул,— ответил Максим.

— Какой консул?

— Наш.

— Какой наш?

— Советский.

— Да разве в Неаполе есть консул?

— Недавно назначили.

— Да зачем же он приехал?

— А вот хочет засвидетельствовать почтение Дуке и похристосоваться с вами.

Дука — домашнее прозвище Горького. По этому поводу позволю себе сделать небольшое отступление. В эпоху первой эмиграции, когда Горький жил не в Сорренто, а на Капри, его тогдашняя жена — М.Ф.Андреева старалась создать легенду вокруг него. Домашней прислуге, лодочникам, рыбакам, бродячим музыкантам, мелким торговцам и тому подобной публике она рассказала, что она — русская герцогиня, дукесса, которую свирепый царь изгнал из России за то, что она вышла замуж за простого рабочего — Максима Горького. Эта легенда до крайности чаровала романтическое воображение каприйской и неаполитанской улицы, тем более, что Андреева разбрасывала чаевые с чисто герцогской щедростью. Таким образом, местная популярность Горького не имела ничего общего с представлением о нем, как о писателе, буревестнике, певце пролетариата и т.д. В сущности, она была даже для него компрометантна, потому что им восхищались, как ловким парнем, который сумел устроиться при богачке, да еще герцогине, да еще красавице. Все это рассказывал мне Максим, который терпеть не мог свою мачеху. Думаю, что отсюда же возникло и прозвище Дука, то есть герцог. Возможно, впрочем, что оно имело иное происхождение.

Пробило, наконец, час. Гости собрались. За стол, однако же, не садились, и я тотчас заметил некое замешательство. Дверь в кабинет Горького была заперта. Его секретарша, баронесса М.И. Буберг, вышла оттуда с озабоченным лицом и спросила Максима:

— Может быть, позвать доктора?

— Да нет, обойдется,— сказал Максим. Но лицо у него было мрачное. Думая, что внезапно заболел Горький, я пытался узнать, в чем дело, но мне в ответ что-то бурчали и проходили мимо. Наконец, позвали к столу. Горький вышел наконец, пропустив вперед консула. Это был парень лет тридцати, в дешевеньком костюме табачного цвета. Лицо у него было скуластое, нос — картошкой, выражение лица сосредоточенное, но не умное. Казалось, он был в состоянии обалдения. Мотнув головой, что означало общий поклон, он сел рядом с бар. Будберг. С другой стороны от нее посадили Х. Очутившись в обществе баронессы и иностранного консула, Х. тотчас принялся лепетать на великосветские темы, забрасывая консула вопросами: успел ли он уже познакомиться с маркизом таким-то? неправда ли, маркиза очаровательна? собирается ли консул играть в гольф или предпочитает теннис? правда ли, что английский посланник в Вене собирается покинуть свой пост — и как это будет печально, ибо ведь это один из любезнейших людей в Европе,— и прочее, все в том же роде.

Консул, бывший рабочий, незадолго до войны эмигрировавший из России в Италию, а ныне назначенный на свой пост потому, что слегка умел калякать по-итальянски, не понимал вопросов, задаваемых по-французски. Баронесса Будберг пыталась быть переводчицей, но он все равно не мог поддержать столь изящной беседы. Х. все же не унимался, а баронессе ничего не оставалось, как передавать ему воображаемые ответы консула. Между тем, сам

представитель дипломатического мира был занят едой. Вилку и нож он крепко держал в сильных своих кулаках, как весла: если бы он вытянул руки, то острия этих непривычных инструментов оказались бы обращены не внутрь, а наружу, в разные стороны. Оттяпав кусок мяса, он клал нож на стол, вилку перекладывал из левого кулака в правый, насаживал на него еду, отправлял ее в рот и жевал, могуче работая скулами. Потом опять брал нож и вилку, и трудная операция начиналась сызнова. В общем, он хмурился, почти ничего не говорил, сидел сгорбившись и время от времени щупал себе бока. Если представить себе весь стол, как некий оркестр, то пришлось бы сказать, что баронесса Будберг была дирижером, консул — фаготом, рычавшим редкий аккомпанемент, а X. — первой скрипкой, которая неумолчно выводила писклявую фиоритуру на бледном фоне всех остальных инструментов. Горькому вовсе не нашлось партии — он все время молчал с выражением досады или скуки.

Днем, часов в пять, я отправился на прогулку. Возвращаясь домой через Сорренто, на площади у кафе я увидел стоящий автомобиль — тот самый, что утром привез к нам консула. Сам консул сидел за столиком в обществе Максима и мордастой девицы с портфелем и в роговых очках. Оказалась она секретаршей консула, приехавшей с ним вместе, но не взятою к Горькому и просидевшей весь день в Сорренто. Тут же стояла Максимова мотоциклетка с прицепной коляской. Рассчитывая доехать домой с Максимом, я присоединился к обществу. Консул на этот раз держался бодрее, говорил, что теперь чувствует себя лучше, а то было уже думал, не сломано ли ребро. Наконец, он сел с секретаршей в такси и уехал в Неаполь, а мы с Максимом остались еще посидеть. Я спросил у Максима, почему так хмур консул и что случилось с его ребром. Максим весь день старавшийся делать серьезное лицо, сразу развеселился:

— Да вздули его сегодня, вот он и раскис!
— Как вздули? Кто? Где?
— Солдаты вздули, в Кастелламаре.
— Какие солдаты?

Признаюсь, я уже вообразил себе ужасную расправу озверелых фашистов с представителем пролетарского государства. К изумлению моему, Максим ответил:

— Наши солдаты, русские.

Оказалось, что в Кастелламаре живет целая группа русских солдат. Еще во время войны они бежали из австрийского плена, пробрались в Италию, были там интернированы — да так и остались. Узнав об их существовании, консул решил разом убить двух зайцев: по дороге в Сорренто заехал к солдатам и стал их «пропагандировать». Вот тут-то они его и избили, и в гости к Горькому он едва доехал, покрытый синяками.

Если читатель припомнит, несколько лет тому назад в газетах писалось о бывших русских солдатах, учинивших бунт в Кастелламаре, в каком-то не то приюте, не то доме умалишенных, где они очутились. Вот это и есть те самые несчастные люди.

За вечерним чаем зашел разговор о консуле. Горький сказал, вздыхая:

— Черт их дери, наших умников. Назначают вот эдакого осла консулом!

Ни консула, ни Х. мне больше встретить не довелось. Знаю только, что год или два спустя Х. ездил в Москву, представился Луначарскому, поднес ему свою книжку с надписью, но Луначарский на этот раз выказал немалую проницательность: и самого Х., и его книгу, и все его советофильство он довольно язвительно высмеял в «Красной Нови». После этого Х. перестал большевизанить и вообще, кажется, бросил литературу.

1938 г.

О СМЕРТИ ГОРЬКОГО

Действительно ли Максим Горький и его сын могли быть убиты участниками последнего московского процесса? Кому и зачем могла быть нужна их смерть? Каковы были отношения Горького со Сталиным и Ягодой? Кто такой Крючков?

С такими вопросами многие обращались ко мне в последние дни. К сожалению, ответить на них я могу только предположительно, потому что непосредственная связь с Горьким, его семьей и его окружением окончательно порвалась у меня еще летом 1925 года. Сведения, полученные впоследствии, шли уже из вторых и третьих рук. Однако мне кажется, что обстановка московских событий мне более или менее знакома, а потому я вправе высказать о них свое мнение: отнюдь, разумеется, не свидетельство.

Повторяю, мои высказывания могут быть только предположительны, главным образом, еще и потому, что я принужден отчасти пользоваться данными московского процесса, в котором правда и ложь могут быть разделены и выяснены разве лишь будущим историком — и то при условии, что до него сохранятся необходимые и неоспоримые документы.

Во всем этом деле самое фантастическое и самое затруднительное обстоятельство — то, что мы не можем доверять признаниям обвиняемых. Некоторые из них, можно сказать, стоят выше обвинений, которые они сами на себя возводят. Таковы проф. Плетнев и доктор Левин. Оба — старики, прожившие долгую и

ничем не запятнанную жизнь. Второго из них, Льва Григорьевича Левина, я хорошо знаю. В газетах были о нем напечатаны сведения слишком неточные. По тому, что сообщалось о Левине, читатель мог заключить, что это — какой-то мелкий провинциальный врач, раздобытый большевиками для темных дел. В действительности Левин долгие годы практиковал в Москве. Его специальностью были детские и внутренние болезни. Он был домашним врачом своего коллеги — проф. Ф.Е.Рыбакова, заведовавшего психиатрической клиникой Московского университета. Кажется, именно через Рыбакова он стал одним из популярнейших врачей в среде писателей и артистов. Я сам и многие мои родственники были его постоянными пациентами с 1911 г., но еще в 1897 г., еще совсем молодым врачом, он спас одного из моих братьев от очень серьезной болезни. К политике он не имел никакого отношения, и к больному Ленину был приглашен по причине своей врачебной репутации. К «лаборатории» ГПУ он, разумеется, не имел никакого отношения: на процессе выяснилось, что во главе лаборатории стоял Казаков, которого он уличал в шарлатанстве. И вот, когда он признается, что ускорил смерть Горького,— все существо мое отказывается верить ему, как и Плетневу. Но и он, и Плетнев объявляют, что действовали под страшным давлением Ягоды, грозившего расправиться с их семьями,— я уже не знаю, что думать.

Зачем Ягоде была смерть Горького?

Думаю, что могла быть нужна. В 1921-1928 гг. Горького смущало и тяготило полуопальное положение буревестника революции, принужденного жить за границей на положении чуть ли не эмигрантском. Ему хотелось быть там, где творится пролетарская революция. Сталин, расправившийся с его недругом Зиновьевым (имею в виду не казнь Зиновьева, а его предварительную опалу), дал Горькому возможность

вернуться и занять то высокое положение арбитра по культурным вопросам, которого Горький не мог добиться даже при Ленине. Сама личность Сталина, конечно, ему в высшей степени импонировала: в глубине горьковской души всегда жило восхищение силою, властью, ее внешними атрибутами, которые презирал Ленин. (Надо было послушать, с каким восторгом рассказывал Горький о пребывании императора Александра III в Нижнем Новгороде). Несомненно, он льстил Сталину не только в официальных речах и писаниях. Вполне допускаю, что в некоторых вопросах, второстепенного и бытового характера, Сталин со своей стороны прислушивался к его мнению. Не раз мне казалось, что некоторые уступки на религиозном «фронте», знаменитая реабилитация елок, не менее знаменитый призыв к зажиточности,— все это происходило не без горьковского влияния. Словом, Сталин и Горький могли быть довольны друг другом. Тем не менее, зная Горького, не приходится сомневаться, что далеко не все в советской России было ему по душе. Как прежде, при Ленине, так и теперь при Сталине, он официально восхищался «нашими достижениями» и проявлял оптимизм, но в частном порядке ворчал и критиковал. По доходившим до меня сведениям, он и от Сталина и Ягоды, как прежде от Ленина и Дзержинского, пытался кое-кого защищать, отстаивать. И опять, как перед его отъездом за границу, многие смотрели на него, как на заступника, как на человека, с которым можно хотя бы отвести душу. Следовательно, и сталинская оппозиция, как бывало — зиновьевская, могла ему в известной степени доверяться, и если не все, то многие ее тайны должны были быть ему ведомы. И если, скажем, Рыкову или Бухарину не приходило в голову, что Горький способен их выдать, то Ягода, плохо знающий Горького и мерящий людей на свой аршин, вполне мог мечтать об устранении его, как потенциального доносчика. Именно всем этим и приходится

объяснить тот факт, что Ягода приставил к нему своего соглядатая — Крючкова. Подозревать Горького в обыкновенной «контрреволюции» не могло прийти в голову и самому Ягоде. И если Крючков все-таки был приставлен, то его наблюдения должны были идти по двум линиям: во-первых,— по линии слежки за посетителями, собеседниками и корреспондентами Горького, во-вторых,— по линии слежки за сношениями самого Горького со Сталиным.

Должен заметить, впрочем, что когда дело идет о Крючкове, выражение «приставлен» не совсем точно. Надо было сказать — «заагентурен», потому что тесная связь Горького с этим человеком началась задолго до того, как Ягода стал во главе ГПУ.

Петр Петрович Крючков (или Пе-Пе-Ка, как иногда называли его в доме Горького) некогда был помощником присяжного поверенного, но практикой не занимался. По словам Максима, сына Горького от первого брака, он служил в петербургском градоначальстве. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах он познакомился с Марией Федоровной Андреевой, второй женой Горького. Во всяком случае, в 1920 году (а может быть, и раньше) он уже состоял ее секретарем по управлению петербургскими театрами, жил на ее половине в квартире Горького и, не смущаясь разницею возрастов (Мария Федоровна значительно старше его), старался всем показать, что его ценят не только как секретаря. Он был недурен собой, хорошо одевался, имел пристрастие к шелковым чулкам, которые не всегда добывались легально. Когда в 1921 г. Горький под давлением Зиновьева принужден был уехать за границу, Мария Федоровна вскоре последовала за ним в целях надзора за его политическим поведением и тратою денег. Разумеется, она взяла с собой Крючкова, с которым и поселилась в Берлине, тогда как сам Горький с сыном и невесткою жил за городом. За границей Мария Федоровна ничего не

делала, но Крючкову устроила отличное место: пользуясь своими связями (которые в ту пору были сильнее горьковских), она добилась того, что Крючков был поставлен во главе советского книготоргового и издательского предприятия «Международная книга». Пост был как нельзя более подходящий: Крючков почти автоматически становился издателем Горького и посредником в сношениях Алексея Максимовича с внутрироссийскими журналами и издательствами. Таким образом, Крючков сделался не секретарем Горького, и даже не «министром финансов», а больше того: главным источником и надзирателем его денежных средств,— что и требовалось.

Крючковской опекой Горький не тяготился, потому что на приход и уход денег всегда смотрел сквозь пальцы. Кроме того, он должен был быть благодарен Крючкову за то, что тот избавил его от Андреевой. Несколько иначе смотрел на дело Максим, перенесший на Крючкова свою нелюбовь к мачехе. О роли Крючкова при Марии Федоровне отзывался он в нецензурных выражениях и всякий раз, когда заходила речь о Крючкове, принимался мяукать, изображать кота и приговаривать: «Кис-кис-кис». Горький хмурился и обрывал его. Впрочем, была у Максима еще причина недолюбливать Крючкова: будучи крайне легкомыслен и склонен сорить деньгами, он сам претендовал на роль «министра финансов» при отце. Крючков был ему помехою и мешал транжирить.

Вернувшись в советскую Россию и нуждаясь в секретаре (его бывшая секретарша осталась за границей), Горький, естественно, обратился за помощью к Крючкову, тем более, что Крючков уже расстался с Андреевой и даже, по слухам, женился. Первое время, по-видимому, все шло прилично, но затем люди, приезжавшие из России, стали рассказывать, что Горький «в плену» у Крючкова, который контролирует каждый его шаг, по-своему распоряжается его време-

нем, присутствует при всех его разговорах с посетителями, даже с ближайшими друзьями,— и т. д. Очевидно, Крючков обнаглел и стал действовать прямо во вред Горькому потому, что уже был заагентурен Ягодой. Об этом прямо и говорили уже примерно лет шесть тому назад. Вполне возможно, что Горький сам догадывался, в чем дело. Но зная его характер, можно быть уверенным, что он старался об этом не думать, потому что больше всего на свете любил иллюзии. Меж тем, как это ни тяжело вымолвить, очередным героем его воображения в ту пору сделался сам Ягода. Конечно, ему было неприятно думать, что этот милый Ягода, строитель великого Беломорского канала, чудесный «перековыватель душ», превращавший воров и проституток в героев социалистического труда,— приставил сыщика к нему, к искреннему своему почитателю. И он старался этого не замечать.

Есть основания предполагать, что сближению Горького с Ягодой способствовал сам Максим. Некогда на страницах «Возрождения» И.Д.Сургучев дал прекрасный портрет Максима-ребенка. К несчастью, он остался ребенком на всю жизнь. В тридцать лет с лишним его больше всего занимали ковбои, сыщики, клоуны, гангстерские фильмы, коллекция марок. Еще в 1918-1919 гг., будучи от природы добрым мальчиком, единственно по склонности к пинкертонизму, он принимал некоторое участие в деятельности Чека. Я поздно узнал об этом, только уже в 1925 г., когда одно лицо, приезжавшее в Сорренто, передало Максиму предложение Дзержинского вернуться в Москву и вновь поступить на службу. Максим колебался: с одной стороны ему не хотелось возвращаться в Россию, с другой — ему там обещали подарить автомобиль. Горький был против всей этой комбинации: понимал, что Максим — только веревочка, за которую хотят притянуть в Москву его самого. Кроме

того, он боялся за сына. Говорил: «Когда у них там начнется склока, его прикончат вместе с другими,— а мне этого дурака жалко». Эти слова оказались пророческими.

Разоблачившееся прошлое Максима было одной из главных причин моего разрыва с Горьким. Дело не в том, однако. Важно, что по возвращении Горького в Москву, уже при Ягоде, Максим все-таки связался с ГПУ. Этим объясняется и то, что он, захватив жену, организовал знаменитую поездку отца на Соловки, а затем, в сопровождении самого Ягоды,— по Беломорскому каналу. Несомненно, Максим сделал Ягоду своим человеком в доме, и это обстоятельство имело роковые последствия для него самого.

Жена Максима, Надежда Алексеевна, по домашнему прозвищу Тимоша, была очень хороша собой. Ягода обратил на нее внимание. Не знаю, когда именно она уступила его домогательствам. В ту пору, когда я наблюдал ее каждодневно, ее поведение было совершенно безупречно. Можно думать, что и в Москве оно оставалось таким же, и следовательно Ягоде, чтобы добиться ее благосклонности, приходилось мечтать об устранении Максима. И в самом деле, о ее связи с начальником ГПУ я узнал уже только после того, как Максим скончался.

Содействовать убийству Максима Крючков имел и личные основания — помимо «служебных». Как уже сказано, еще в заграничную пору Максим сопротивлялся крючковскому хозяйничанью в делах Горького. В СССР, когда средства Горького значительно увеличились, это сопротивление должно было возрасти, жадность Крючкова — тоже. Крючкову нетрудно было сообразить, что в случае смерти Максима он совершенно завладеет Горьким, воля которого будет сломлена горем (ибо Алексей Максимович в сыне буквально души не чаял, хотя и частенько звал его ослом, идиотом и т.д.). В случае же смерти и самого

Горького перед Крючковым открывалась перспектива широчайшего и бесконтрольного ворочания делами беспомощных, частью малолетних наследников. Поэтому к показаниям Крючкова об его соучастии в убийстве Максима можно отнестись с полным доверием.

Другое дело — роль Ягоды, Крючкова и всех врачей в смерти самого Горького. Не следует забывать, что за сорок лет до смерти Горький был серьезно болен туберкулезом, возникшим на почве покушения на самоубийство, когда он прострелил себе легкое. Туберкулез был залечен, но постоянно давал о себе знать бронхитами, плевритами и т.д.

Шестидесятивосьмилетний возраст и огорчение по поводу смерти Максима, несомненно, сильно расшатали здоровье Горького в последнее время. Любая очередная простуда легко могла вызвать смертельный исход. По-видимому, так и случилось. Показания самого Крючкова и врачей о том, как они содействовали смерти Горького, очень смутны, лишены конкретности, особенно по сравнению с их рассказами о том, как были вызваны болезнь и смерть Максима. Мне кажется, это можно объяснить тем, что о смерти Максима они говорили правду, о смерти же Горького возводили на себя небылицу, продиктованную им в тюрьме. Иными словами, я думаю, что Горький умер естественной смертью: Ягода за ним следил, мог ему не доверять, но не имел веских оснований его ликвидировать. «Пришить» его смерть убийцам Максима, нужно думать, было решено свыше, по соображениям политическим и демагогическим. Ведь с какой стороны ни взгляни, убийство Максима есть всего только обыкновенное уголовное преступление, совершенное Ягодой на романтической почве, а Крючковым — на денежной. Политической цели и политического значения оно иметь не могло, и следовательно — не могло отяготить политический

«пассив» Ягоды. Обвинение же в убийстве самого Горького, разумеется, сразу ставило дело на политическую почву, придавало ему тот смысл, ради которого был задуман и проведен весь этот процесс, представляющий собой отнюдь не сплошной вымысел, а сложнейший сплав вымысла с правдой.

Январь 1938.

КОММЕНТАРИЙ

Незадолго до своей смерти, Ходасевич составил из выбранных газетных и журнальных статей, написанных за последние пятнадцать лет, книгу воспоминаний под заглавием *Некрополь.** Там он поместил девять портретов писателей, которых он близко знал, либо с юных лет (Брюсов, Белый, Муни, Нина Петровская), либо со времени войны и революции (Гершензон, Горький, Сологуб, Есенин и — вместе — Гумилев и Блок). Затем, в 1954 году, составляя новую книгу выбранных статей Ходасевича, Н.Н. Берберова включила в сборник *Литературные статьи и воспоминания*** еще восемь мемуарных очерков, не вошедших в *Некрополь.*

Белый коридор — третья книга воспоминаний Ходасевича. Сюда вошли все воспоминания, перепечатанные в *ЛСВ,* и кроме того — автобиографическая заметка «О себе», воспоминания о детстве («Младенчество») и также двенадцать мемуарных очерков и портретов, не перепечатанных с 1920-1930-х годов.

Ходасевич — превосходный мемуарист, и теперь, в книгах *Некрополь* и *Белый коридор,* читатель может найти почти все его воспоминания. Надо сказать «почти» потому, что здесь нет его статей о Викторе Гофмане (1926), о детской встрече с Аполлоном Майковым (1926), о московских «Меценатах» (1936).

....

*В.Ф. Ходасевич, *Некрополь.*

***Владислав Ходасевич, Литературные статьи и воспоминания,* под ред. Н. Берберовой, Нью-Йорк (изд-во им. Чехова), 1954.

Но дело не только в отсутствии каких-либо статей. За годы эмиграции (1922-1939) Ходасевич написал около 430 статей (и в это число не входит более 80-ти статей о Пушкине). Рецензируя новую книгу или обращаясь к определенному литературному вопросу, он нередко ссылается на личные воспоминания или вставляет в статью анекдот. Так, в рецензии журнальной статьи о Брюсове и Белом, он пишет:

Помню такую сцену, в редакции «Весов», весной 1905 г. Мы сидим с Брюсовым в задней комнате. Звонок. Брюсов выходит в приемную. Некоторое время оттуда слышны голоса, потом хлопает входная дверь. Брюсов возвращается и скучающим голосом говорит:

— Опять приходил Андрей Белый уверять меня, что я — тайный рыцарь Жены Облеченной в Солнце.

— Что ж, вы его разуверили?

— Нет. Пусть. Чем бы дитя ни тешилось.*

Анекдот отличается своей сценичностью, точностью, юмором. Сцена как будто написана для театра миниатюр. Обстановка набросана бегло, но детали точны: время, место. На сцене два действующих лица, за кулисами — третье. Вся суть в последней строчке (и в авторской ремарке «скучающим голосом»). Любопытно, что сцена во многом похожа на детскую пьесу «Выстрел», о которой Ходасевич вспоминает в «Младенчестве». Но здесь последняя строчка не только удивляет, а также показывает взгляд на литературу, на себя и на других.

Немало таких мест в статьях Ходасевича после 1925 года, когда он начал писать свои воспоминания (в Сорренто, со смертей Брюсова и Гершензона).

В *Белом коридоре* много хороших сцен: игроки Толстой, Достоевский и Ходасевич за картами («Московский Литературно-Художественный Кружок»), разговоры с Каменевой («Белый коридор») и с Максимом Пешковым («Горький») и другие. Весь

«Брюсов и Блок», Возрождение (Париж), № 1227, 11 окт. 1928.

очерк «Завтрак в Сорренто» — набросок комедии в двух действиях, в стиле Тургенева. Однако Ходасевич относился к воспоминаниям, как к традиционному жанру. Во-первых, это портрет человека. Во-вторых, портрет «духа эпохи»: духа времени и духа места. В них встречается много «ужасного», много забавного, а иногда и лирическое — «летом на Мойке пел соловей» — слова, впервые написанные в 1928 году в некрологе баронессы Икскуль, а затем переработанные для описания великолепия Петербурга 1920-22 годов («Дом искусства»). И встречается везде правдивость, которая, вместе с мастерством Ходасевича-прозаика, делает эти воспоминания такими ценными в русской мемуарной литературе.

РИЧАРД СИЛЬВЕСТР
Колгейтский Университет

Условные сокращения:

КМ — Н. Берберова, *Курсив мой* (Автобиография),

ЛСВ — Владислав Ходасевич, *Литературные статьи и воспоминания*, под ред. Н. Берберовой, Нью-Йорк (Изд-во имени Чехова), 1954.

О СЕБЕ

Новая русская книга, 1922, № 7

Не перепечатывалось. Написано в начале июля 1922 г., сразу после приезда Ходасевича и Берберовой из Петербурга в Берлин. В ноябре они переехали в Сааров, где жил Горький.

Прожил месяца три в Коктебеле — два лета, проведенные в Коктебеле, не упоминаются в воспоминаниях Ходасевича. Однако, в недавно опубликованных двух письмах оттуда, Ходасевич забавно описывает жизнь у Волошиных в Коктебеле: см. J. E. Malmstad and G. S. Smith, "Eight Letters of V. F. Khodasevich (1916—1925)", *The Slavonic and East European Review, 1979, № 1.*

Моя жена — А.И.Чулкова.

В полуподвальном этаже нетопленного дома — Ходасевич жил в то время между Москвой-рекой и Смоленским Рынком, в 7-ом Ростовском переулке. Район большей частью теперь перестроен, но самый переулок и несколько старых жилых домов существуют по сей день (1979). Здесь он жил в период своего третьего сборника стихов *«Путем зерна»* (1920).

я на полтора месяца — Ходасевич сам смеялся своей описке. Следует читать: «я на два с половиной месяца».

кружок «Звучащая раковина» — литературная студия Гумилева в 1920-1921 г.г.

МЛАДЕНЧЕСТВО

Возрождение, 1933, № 3054, 3057, 3061 (12, 15, 19 окт.)

Перепечатано в альманахе *Воздушные пути,* №4 (Н-Й, 1965).

«Когда он начал писать свою повесть *Младенчество,* «левая» часть эмигрантской общественности была

возмущена: кому интересны его воспоминания детства? Что он, Лев Толстой, что ли? Давление было столь сильным, что ему пришлось бросить начатую книгу.» — *КМ*, стр. 688.

Старший из моих братьев...; брат Миша — Михаил Фелицианович Ходасевич (1865-1925), отец художницы Валентины Михайловны, известный московский адвокат. Он любил искусство, коллекционировал вещи александровской эпохи и, с начала 1900-х годов — современную живопись. Успешно защищал Гончарову на одном из судебных разбирательств по обвинению художницы в кощунстве. См. каталог *Валентина Михайловна Ходасевич: 1894—1970* (М., 1979), а также книгу R. D. Sylvester, E. D., Valentina and Olga Khodasevich: *Letters to Nina Berberova* (Berkeley, 1979).

Покойный Мурр — коту Мурру посвящено стихотворение «На смерть кота Мурра», которое при жизни В.Х. не печаталось и было впервые опубликовано в *Опытах* (Н-Й), а затем вошло в *Собрание Стихов* под ред. Н.Н. Берберовой (1961).

Зайчуров имя кота друзей В.Х., живших недалеко от его квартиры в Булони-Биянкуре.

Майковское четверостишие было мной пережито, как мое собственное — «В июле (1896 — РДС) отправили меня гостить к дяде, на Сиверскую... Однажды увидел я: из соседней дачи вышли какие-то люди; выкатили огромное кресло на колесах, а в кресле — важный, седой старик, в золотых очках, с длинной белой бородой. Ноги покрыты пледом.

— Знаешь, кто это?
— Ну?
— Это Майков.

Майков! Я был потрясен... Я знал много его стихов наизусть и — дело прошлое! — воровал из них без зазрения совести. В стихотворении «Верба», вслед за описанием шаров, морских жителей и гарцующих жандармов, была мною красиво вставлена и такая строфа:

Весна! Выставляется первая рама — и т.д.

Должен еще покаяться, что, будучи уличен в плагиате, предерзко отрицал это обстоятельство и чуть не до слез божился, что стихи мои собственные, а если такие же есть у Майкова, значит — совпадение.» — В.Ф.Х., «Парижский альбом», *Дни,* № 1051, 11 июля 1926.

Одна современная поэтесса — Н.Н. Берберова. Не «Колыбельную песню», но «Молитву» Лермонтова: см. *КМ,* стр. 49-50.

МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО—ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

Возрождение, 1937, № 4073, 4074 (10, 17 апреля). Перепечатано в *ЛСВ.*

Доклад читал Брюсов — доклад был прочитан 7 января 1903 г., а затем опубликован в журнале «Мир искусства» (1903, № 1-2), под названием «Искусство или жизнь? (К десятилетию со дня смерти Фета)». Она вошла в сборник Брюсова *Далекие и близкие* (М., 1912) с небольшими изменениями. Скандал после доклада вызвал прения в газетах, в которых участвовали Брюсов и Любошиц, под псевдонимами. После этого выражение «стиль Любошица» Брюсов употреблял для определения «скандальности и беспринципности в полемике» (*Лит. насл.,* том 85, стр. 797).

ЗАКОНОДАТЕЛЬ

Впервые в парижской газете *Дни,* 1926, № 936, под названием «Новый Ликург». Перепечатано в *Возрождении,* № 3977 (23 апр. 1936) под названием «Законодатель»; а затем в *ЛСВ.*

покойный мой брат — Мих. Фел. умер в декабре 1925 г. Статья появилась месяца через два после его смерти. О нем, см. примечание к «Младенчеству» в настоящем томе.

ПРОЛЕТКУЛЬТ

Впервые в парижской газете *Последние новости*, 1925, № 1578 (17 июня), под названием «Как я «культурно-просвещал»».

Перепечатано в *Возрождении*, 1937,№ 4062, а затем в *ЛСВ*.

КНИЖНАЯ ПАЛАТА

Возрождение, 1932, № 2718, 2725 (10, 17 ноября). Перепечатано в *ЛСВ*.

БЕЛЫЙ КОРИДОР

Впервые в *Днях*, 1925, № 842, 843, 846 (1, 3, 6 ноября).

Перепечатано в 1937 г. в газете *Сегодня* (Рига), а затем в *ЛСВ*.

О Луначарском Ходасевич рассказывал анекдоты в статьях о Дзержинском (Дни, 1926, № 1063) и в статье об Изадоре Дункан (*Возрождение*, 1927, № 877).

Они одевались у Ламановой — Ламанова, владелица модной мастерской в Москве до революции.

ЗДРАВНИЦА

Возрождение, 1929, № 1381 (14 марта). Перепечатано в *ЛСВ*.

ТОРГОВЛЯ

Возрождение, 1937, № 4067 (27 фев.). Перепечатано в *ЛСВ*.

«ДОМ ИСКУССТВ»

Возрождение, 1937, № 4079 (7, 14 апр.). Перепечатано в *ЛСВ*.

общество «Старый Петербург» — общество по сохранению старых зданий и памятников Петербурга.

Прав был поэт, писавший в те дни — автором этих строк был Ходасевич. Фрагмент, опубликованный здесь впервые, читается так:

Иду, вдыхая глубоко
Болот Петровых испаренья,
И мне от голода легко
И весело от вдохновенья.

Прекрасно утопать и петь...

Фрида Н. — Наппельбаум, Фредерика Моисеевна (1902-1950), поэтесса, член кружка «Звучащая раковина», дочь известного фотографа. О ней и о ее сестре Иде — близких друзьях Н.Н. Берберовой — см. *КМ*.

ВО ПСКОВЕ

Возрождение, 1935, № 3795 (24 окт.). Не перепечатывалось.

для жены и для тринадцатилетнего моего пасынка — А.И. Чулкова и ее сын Эдгар, названный так в честь Эдгара По. Ему посвящена сказка Ходасевича *Загадки*, Пб., 1922.

ПОЕЗДКА В ПОРХОВ

Возрождение, 1935, № 3627, 3634 (9, 16 мая). Не перепечатывалось.

Из Бельского Устья Ходасевич написал интересные письма к своему другу Борису Диатроптову; см. публикацию, указанную в примечаниях к «О себе».

Одна почтенная писательница, в которую, говорят, был влюблен Тургенев — Е.П. Леткова-Султанова.

Муся О. — Мария Сергеевна Олонкина, или Алонкина (1901-1923?). Работала в Доме Искусств в 1921-22 г.г., и ей был посвящен первый сборник «Серапионовых братьев». Умерла от туберкулеза.

СОЛОГУБ

Возрождение, 1937, № 4088 (23 июля), под названием «Из петербургских воспоминаний». Не перепечатывалось.

Сологубу посвящено еще три статьи Ходасевича, а может быть и больше: Рецензия «Очарований земли», *Русские ведомости*, 10дек. 1914; «Сологуб», *Возрождение*, № 918, 1927; и «Сологуб», *Современные записки*, № 34, 1928. Последняя статья вошла в *Некрополь*, с некоторыми изменениями.

историю с обезьяньими хвостами — история, имеющая прямое отношение к «Обезьяньей Палате» Ремизова. Кто-то кому-то послал обезьяний хвост, и получивший на это очень обиделся.

Н.С. Волковысский, Б.О. Харитон — журналисты, заведовавшие «Домом литераторов» на Бассейной улице в Петрограде.

ГУМИЛЕВ И «ЦЕХ ПОЭТОВ»

Впервые в *Сегодня*, 29 авг. 1926. Перепечатано в несколько измененном виде в *Возрождении*, 1933, № 3012 (31 авг.), под названием «Из петербургских воспоминаний». Наш текст следует последней версии.

НЕУДАЧНИКИ

Возрождение, 1935, № 3508, 3510 (10, 12 янв.). Не перепечатывалось.

недавно напомнила мне Марина Цветаева — «Живое о живом (Волошин)» появилось в *Современных записках* в 1933 г., № 52-53.

В.О.Н. — Владимир Оттонович Нилендер (1883-1965), поэт-символист, переводчик греческих трагедий, друг молодости Цветаевой.

Будучи сотрудником «Речи», тайком пописывал он какие-то статейки в «Земщине» — «Речь»: ежедневная газета кадетов, издавалась в Петербурге; «Земщина»: ежедневная реакционная, антисемитская газета, издавалась на субсидию царского правительства.

Л.Б. Яффе, с которым мы тогда редактировали антологию современной еврейской поэзии — письма Ходасевича к Яффе опубликованы в журнале *Russian Literature* (The Hague), № 6 (1974).
Ходасевич перевел ряд поэм и стихотворений современных еврейских поэтов, в том числе и Бялика и Черниховского (которого он лично знал). См. сборники «Еврейская антология» (ред. Яффе и Ходасевича, 1918) и «Из еврейских поэтов» (переводы Ходасевича, Берлин, 1922). Свою работу над творчеством этих поэтов – для него столь «близким и ценным» – Ходасевич закончил переводом иронических, бытовых гекзаметров идиллии Черниховского «Свадьба Эльки», который был опубликован в журнале «Беседа» (№ 4-5, 1924) и до сих пор не перепечатывался.

я продал свою книгу «Путем зерна» одному издателю — издатель «Салона Поэтов» М.О. Цетлин.

Я тогда же написал о Родове — «Господин Родов», *Дни*, № 698, 22 фев. 1925. О реакции Горького на статью см. статью «Горький» в наст. томе. Статья подписана «Сорренто. Владислав Ходасевич».

БОРИС САДОВСКОЙ

Последние новости, 1925, № 1541 (3 мая), под названием «Памяти Б.А. Садовского». Не перепечатывалось.

По-видимому, статья принадлежит к жанру преждевременного некролога. Борис Александрович Садовской, поэт, беллетрист, критик, род. 22 февраля 1881 г. в Ардатове, Нижегородской губернии, в дворянской семье. В роду его

имелись примеси литовской, греческой и половецкой крови. Печатался с 1901 г. О Садовском писали Федор Степун («Москва накануне войны 1914 года», *Новый журнал*, № 26, 1951, и Корней Чуковский в книге *Чукоккала*, М., 1979, где приводятся портреты Садовского, исполненные Репиным и А. Бенуа. Он умер в 1952 г. Очень интересные письма В.Х. к Садовскому готовятся к печати.

Болезнь... давала уже себя знать прогрессивный паралич.

в редакции «Мусагета» - см. вышеуказанную статью Степуна.

«Летучая мышь» популярный театр миниатюр в Москве. Директором и хозяином его был Н.Ф. Балиев. Стихотворение Ходасевича «Акробат» было написано для «Летучей мыши».

СОФИЯ ПАРНОК

Возрождение, 1933, № 3026 (ок. 14 сент.), под названием «Книги и люди: С.Я. Парнок». Не перепечатывалось.

в новом толстом журнале «Северных записках» о Чацкиной и о самом журнале, см. воспоминания Цветаевой «Нездешний вечер».

СЕРГЕЙ КРЕЧЕТОВ И «ГРИФ»

Возрождение, 1936, № 4012 (28 мая), под названием «Книги и люди: Памяти Сергея Кречетова». Не перепечатывалось.

Сергей Кречетов один из псевдонимов Сергея Александровича Соколова (1879-1936). В начале 1905 г. Ходасевич прочитал ему три из своих стихотворений.

«К удивлению моему (и к великой, конечно, гордости) он сам предложил их напечатать. В ближайшей книге альманаха («Гриф» *РДС*) они появились. Я навсегда

остался благодарен С.А. Соколову, но думаю, что в ту минуту он слишком был снисходителен: стихи до того плохи, что и по сию пору мне неприятно о них вспомнить, хотя я писал их 18-и лет.» — В.Ф.Х., *Новая газета*, № 1, 1 марта 1931.

Это были первые напечатанные стихи Ходасевича: «Зимние сумерки», «Осенние сумерки» и «Схватил я дымный факел мой». Ходасевич не включил их в свой первый сборник стихов «Молодость».

я — гимназистом шестого класса — Ходасевич поступил в 1896 году в Московскую 3-ю классическую гимназию, «ту, что помещалась на Большой Лубянке, на том самом месте, где некогда находилась усадьба князя Михаила Пожарского...»

— В.Ф.Х., «Черепанов», *Возрождение*, 1936, № 3942.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Последние новости, 1925, (конец сент. или начало окт.). Не перепечатывалось.

В *Новом мире* (№ 5, 1973), приступая к своим воспоминаниям о Ходасевиче, Шагинян пишет: «Отсюда, читатель, в рассказ мой будут вторгаться имена людей, ставших в будущем нашими врагами, злостными и активными...» За этим предупреждением следует описание Ходасевича и Муни, сидящих на кровати у Шагинян, читающих пушкинские и собственные стихи.

Вы угнетаете М. — первая жена Ходасевича, Марина Эрастовна Рындина-Маковская.

ГОРЬКИЙ

Современные записки, 1940, № 70 (посмертно). Не перепечатывалось.

Знакомство Ходасевича с Горьким длилось семь лет — с 1918 г., когда Горький предложил ему заведывать московским отделением «Всемирной литературы», до 18 апреля 1925 г., когда Ходасевич и Берберова уехали из Сорренто и поселились в Париже. За это время — включая полтора года, проведенные под одной кровлей — они сохраняли близкие отношения, редактировали вместе журнал «Беседа».

Воспоминания Ходасевича о Горьком и письма Горького к Ходасевичу (хранятся в Библиотеке Конгресса, опубликованы в *Новом журнале,* № 29-31, 1952) имеют несомненное значение для биографического облика Горького. После его смерти Ходасевич написал семь газетных и журнальных статей, касающихся отдельных сторон личности и судьбы Максима Горького. Первая большая статья (1937) вошла в *Некрополь.* В ней он писал: «Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих.» В трех статьях, здесь перепечатанных впервые, затрагиваются и те вопросы, которые Ходасевич обошел молчанием в *Некрополе.*

При составлении комментария к статьям Ходасевича о Горьком нам встретился ряд трудноразрешимых вопросов, и мы обратились за помощью к Н.Н. Берберовой. По нашему глубокому убеждению, как сами статьи, так и приводимый ниже комментарий к ним представляют исключительный интерес.

Год тому назад — воспоминания «Горький», опубликованные в «Современных записках», № 63, а затем перепечатанные в книге *Некрополь.*

З.И. Гржебин — Гржебин, Зиновий Исаевич (1869-1929). До революции 1905 г. и во время нее — художник-юморист, издававший политический иллюстрированный журнал «Жупел», в котором участвовал как иллюстратор. Издатель

(вместе с С.Ю. Копельманом) альманахов «Шиповник», при ближайшем участии Л.Н. Андреева, Ф.К. Сологуба и др. В 1919 г. начал крупное издательское дело, издавая в Петрограде, Москве и Берлине русских классиков и современных писателей. Издатель и близкий друг Горького (Г. крестил его старшего сына), член дирекции «Всемирной литературы». Выехал из Советской России вместе с Горьким и вывез свою семью в Германию (октябрь, 1921 г.). Обнадеженный обещанием советских властей о возможности продажи изданных им книг в России, он постепенно разорился, вложив все свои деньги в издательство. Умер в Париже, в долгах. В свое время он выпустил однотомник избранных рассказов Горького (Берлин, 1922 г.), права которого Горький по доверенности передал ему пожизненно, но это условие не было принято во внимание, когда в 1924 г. Горький подписал контракт с Госиздатом. Он также издавал до революции произведения Уэллса, Гамсуна, д'Аннунцио, Марка Твена, Мопассана и др.

книга английского дипломата Локкарта... под условным именем Мара — хотя во всех изданиях книги Локкарата «Мемуары Британского агента», начиная с первого (1932 г.), баронесса М.И. Будберг всегда называется Мура (этим именем ее также звали в ее семье, но никогда в доме Горького), по неизвестной причине во французском переводе ей было дано имя Мара. Ходасевич, который не знал английского языка, читал книгу Локкарта по-французски. Отсюда и разночтение этого имени.

Все это лето он был в подавленном настроении — «подавленное настроение» Горького в августе 1921 года было связано с арестом (3 августа) Н.С. Гумилева и смертью (7 августа) А.А. Блока. Депрессия к концу месяца сделалась настолько сильной, что Горькому пришлось выехать на несколько дней из Петрограда, и так как в это время в Финляндию выехать было трудно, он остался в Белоострове и там в одиночестве провел около недели. В это время слухи о приезде Горького в Европу уже проникли на запад, и немецкие газеты сообщили, что Горький выехал из Советской России в Берлин. Горький вернулся в Петроград и там узнал о расстреле 62-х «контрреволюционеров» (дело

Таганцева), среди которых был не только Гумилев, но и другие знакомые Горькому люди: проф. Н.И. Лазаревский, издатель ежедневной газеты кадетов «Речь» Бак, инженер А. Тихвинский и другие. Это заставило его поторопиться с отъездом. Он выехал через Гельсингфорс в Берлин 16 октября.

Всероссийский Комитет Помощи Голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин — Екатерина Дмитриевна Кускова, правая социалистка, ее муж, известный экономист С.Н. Прокопович, и кадет М.М. Кишкин — московские общественные деятели. Двое первых были высланы летом 1922 г. и умерли в эмиграции.

Он поехал в Германию — Горький приехал в Берлин 2 ноября.

когда Каменев и Зиновьев... устроили знаменитую высылку писателей заграницу — летом 1922 г. из России было выслано около 120 человек — писателей, ученых, философов, театральных деятелей и др. Среди них были Н.А. Бердяев, Н.Н. Евреинов, проф. Карсавин, проф. Н.О. Лосский и мн. др.

«Голос России» — газета эсэров (социалистов-революционеров), в эмиграции была задумана еще в Праге, в 1922 году; она стала выходить в Берлине, под редакцией А.Ф. Керенского и затем, когда большая часть эмиграции переехала во Францию, она закрылась, и в Париже начали выходить «Дни». «Дни» закрылись в 1928 г. за неимением средств.

Издательство «Слово» — книгоиздательство «Слово», созданное И.В. Гессеном в Берлине в 1921 г., было одним из крупных русских эмигрантских издательств в это время. Среди других можно назвать: изд-во Гржебина, «Эпоху» Сумского и Далина, «Геликон» А.Г. Вишняка. Все они пострадали в 1923-1924 г.г. от инфляции и закрылись, и большинство издателей постепенно переехало в Париж.

журнал назвали «Беседой», в память Державина — имеется в виду «Беседа любителей русского слова» (1811-1816), возглавляемая А.С. Шишковым и Державиным, в доме которого члены собирались.

на средства меньшевика Д. — Давид Юльевич Далин (1889-1962). Член Центрального Комитета РСДРП (м), ближайший сотрудник «Социалистического вестника» (одно время его редактор); в сотрудничестве с Б.И. Николаевским он выпустил, в 1947 г. в США, первую основательную книгу о концлагерях в Советском Союзе. К этому времени около пятидесяти книг было выпущено бывшими заключенными (личные воспоминания). Николаевский и Далин первые обобщили факты, подошли к ГУЛагу с точек зрения истории, социологии, экономики и этики. После этого, Далин выпустил еще около восьми книг по-английски о Советском Союзе и теперь может считаться выдающимся американским политическим писателем.

Некто Лежнев — Исай Григорьевич Лежнев (1891-1955). Советский литератор и публицист, в 1923-1924 г.г. редактор журнала «Россия». Учился в университете в Цюрихе, во время гражданской войны был сотрудником красноармейской печати и «Известий». После нескольких лет «Россия» была прекращена, и Лежнева выслали из Советского Союза. В 1930 г. он был возвращен, покаялся и был вновь принят в партию. Основные его работы посвящены Шолохову. В журнале «Россия» участвовали писатели, жившие в Советской России. Когда он закрылся, вышли три номера «Новой России». После последней книги была закрыта и она.

С.Г. Сумский — (Каплун), Соломон Гитманович (1888-1941). Член РСДРП (м), издатель (вместе с Далиным) «Эпохи» (Берлин), брат Б.Г. Каплуна, большевика, игравшего роль в первые годы после Октябрьской революции, и зять издателя Е.Я. Белицкого (Петроград). «Эпоха» выпускала журнал Горького «Беседа», который не был допущен в Россию, и Сумский был разорен. Он

переехал в конце 1920-х годов в Париж и работал в русской газете «Последние новости» до ее закрытия (июнь 1940). Он умер от инфаркта в Париже во время немецкой оккупации, до того, как начались аресты и депортация евреев. Он был не только издателем, но и другом Андрея Белого, В.Ф. Ходасевича, Ремизова, Шестова, Гершензона и многих других литераторов. В «Эпохе» вышло первое собрание сочинений А. Блока — всего несколько томов, далеко не полное. Уезжая, Белый оставил ему свои рукописи, которые Сумский хранил много лет и во время бегства из Парижа (в июне 1940 г.) взял их с собой, в Бретань, в городок Плугонван. Возвращаясь через месяц в Париж, он не смог взять их с собой, и они там остались, и несомненно погибли.

«Засыпание рва» — выражение, придуманное в редакции «Последних новостей» для обозначения соглашательских тенденций по отношению к Кремлю. «Засыпателями рва» были М. А. Осоргин, Ек. Д. Кускова, А. Пешехонов и некоторые другие старые русские эмигранты в Париже и Праге, которые считали, что необходимо примириться со Сталиным. Главной причиной этому была тоска по родине и желание вернуться, что А. Пешехонов в конце концов и сделал. Полемика насчет «Засыпания рва» длилась несколько лет (1930-е годы) и прекратилась сама собой во время войны. «Засыпателям рва» все труднее становилось защищать свои позиции, когда в конце 1930-х гг. во Франции появились «диссиденты»: Раскольников, Кривицкий, Бармин, Агабеков и др.

В Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться — Как это ни странно, дата окончательного переезда Горького в Россию и ликвидации соррентинской виллы до сих пор в советской прессе закамуфлирована: он выехал вместе с сыном, невесткой, И.Н. Ракицким и двумя гостившими в Сорренто советскими писателями, Никулиным и Маршаком, в мае 1933 года из Неаполя в Одессу, с остановкой в Стамбуле (две внучки с гувернанткой выехали ранее). Но в «Краткой литературной энциклопедии» дата дана 1931 год, а в некоторых мемуарах — 1932

год. Выезжавшая спешно в Стамбул, чтобы в последний раз проститься с Горьким, баронесса М.И. Будберг, пишет, что это было в 1934 году. День отъезда, таким образом, советским читателям неизвестен, как впрочем, неизвестен ни день, ни год первой встречи Горького с Лениным: после многих лет уверенности, что это было в 1907 году, перед съездом РСДРП в Лондоне, как сам Горький о том писал в своих воспоминаниях о Ленине, выяснилось, что это случилось в Берлине, в доме издателя и общего их друга И.П. Ладыжникова, перед поездкой в Лондон, на съезд. Но в «Летописи жизни и творчества М. Горького», том I, стр. 563-565, мы читаем, что Горький и Ленин встретились в 1905 году *в типографии*, где выходила газета Ленина, в это время легальная: тут же приложена фотография дома на Знаменской улице, где была *квартира Горького*, и где произошла эта знаменательная встреча видимо, еще до типографии, а может быть и после. (См. Н. Берберова. *Железная женщина*, неизд. рукопись).

ЗАВТРАК В СОРРЕНТО

Возрождение, 1938, № 4130 (6 мая). Также в газете *Сегодня* (Рига), под названием «Завтрак в Сорренто»: О Горьком, «русской герцогине» М.Ф. Андреевой, консуле и русских солдатах». Не перепечатывалось.

Писателя Х. Андре Жермен (наст. имя Луи Сандре, род. в 1881 г.). Французский писатель, банкир, французский литературный агент Горького. Почти все его книги, как говорил Ходасевич,- «виньетки и заметки» («Европейское паломничество», «Савоярское паломничество», «Парижские портреты», «Бургундские замки» и даже «Старец и девушка» о Гете и Беттине). Ходасевич, как и остальные жители дома Горького, издевались над этим господином, как могли, и Ходасевич даже сочинил в его честь экспромт:

Вот эскизы и крокú
Сочиненные с тоски.

О СМЕРТИ ГОРЬКОГО

Возрождение, 1938, № 4122 (11 марта). Не перепечатывалось.

С такими вопросами многие обращались ко мне Вопросы возникли в связи с третьим московским процессом, где наряду с Рыковым и Бухариным были приговорены к смертной казни Ягода и П.П. Крючков.

Петр Петрович Крючков Ходасевич здесь ошибся: прозвище Крючкова, друга М.Ф. Андреевой и секретаря Горького, позже осужденного за убийство Горького и его сына на третьем московском процессе, было не Пе-Пе-Кра, а Пе-Пе-Крю. (См. упомянутую книгу Н. Берберовой.)

Когда в 1921 г. Горький... принужден был уехать за границу, Мария Федоровна вскоре последовала за ним Здесь неточность: М.Ф. Андреева и П.П. Крючков выехали вместе из Петрограда в Берлин через Гельсингфорс весной 1921 года. Оба служили тогда в берлинском торгпредстве.

сам Горький с сыном и невесткою жил за городом, «За городом» относится главным образом к Саарову, в полутора часах к востоку от Берлина. Местопребывания Горького были, со дня приезда в Германию и до отъезда в Чехословакию (ноябрь, 1923 г.): квартира в Берлине, Санкт-Блазиен в Шварцвальде, Херингсдорф на берегу Балтийского моря, Сааров и Гюнтерсталь (тоже в Шварцвальде) летом 1923 года. Перед отъездом в Чехословакию Горький с семьей короткое время снова жил в Берлине.

За границей Мария Федоровна ничего не делала М.Ф. Андреева в торгпредстве занимала высокое положение в «культурном» его отделе: через нее шли в Россию иностранные фильмы. Позже, в 1930-х г.г., она была возвращена в Москву и там возглавляла Кустэкспорт. Во

время войны ее эвакуировали в Среднюю Азию и там она читала другим эвакуированным лекции о ленинизме-сталинизме. Она умерла в 1953 году. Год ее рождения не был известен, сейчас он помечается иногда 1868 (год рождения Горького), а иногда 1872.

его бывшая секретарша осталась за границей — баронесса М.И. Будберг (1892-1974).

по склонности к пинкертонизму — от имени Ната Пинкертона, американского сыщика и автора детективных романов (герой — Ник Картер).

когда одно лицо... передало Максиму предложение Дзержинского — Ек.Пав. Пешкова, первая жена Горького, мать его сына Максима. См. посмертную статью «Горький» в наст. томе. Здесь Ходасевич пишет «одно лицо», чтобы не задеть личности человека, тогда еще здравствовавшего.

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ИМЕН

АБРАМОВИЧ, Николай Яковлевич (1880-1922). Поэт, печатался в альманахах «Гриф». Критик, автор книг о Ницше, Достоевском и др.; также автор книги «Женщина и мир мужской культуры». Ум. в Москве в доме умалишенных.

АДАМОВИЧ, Георгий Викторович (1894-1972). Поэт-акмеист, лит. критик. В эмиграции с 1922. Был главным лит. критиком «Последних новостей».

АЙХЕНВАЛЬД, Юлий Исаевич (1872-1928). Критик, автор «Силуэтов русских писателей». Он был выслан из России в 1922; стал главным лит. критиком берлинской газеты «Руль». Написал интересные рецензии о книгах В.Х.

АКСЕЛЬРОД-ОРТОДОКС, Любовь Исааковна (1868-1946). Соц. демократка, меньшевичка. Участвовала в «Искре». Одна из основателей группы «Освобождение труда», член плехановской группы «Единство». Автор книг по философии («Против идеализма»), о литературе («Мораль и красота в произведениях О. Уайльда», «Развитие мировоззрения Толстого») и «Воспоминаний». Вышли четыре издания ее «Философских очерков».

АЛДАНОВ, Марк Александрович (1889-1957). Известный эмигрантский писатель, автор исторических романов.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, Василий Дмитриевич (1897-1934). Пролетарский поэт, род. в крестьянской семье. С 11 лет в Москве, печатался с 1913. В годы революции его стихи появлялись в «Правде», «Известиях» и пр. Член «Кузницы».

АНДРЕЕВА, Мария Федоровна (1868?-1953). Актриса МХТ, член партии, личный друг Ленина; с 1903 — вторая жена М. Горького. В окт. 1918 возглавила «Отдел театров и зрелищ Областного Наркомпроса Союза коммун Северной

области». Этой осенью, в «Театре трагедий» Ю.М. Юрьева в Цирке Чинизелли, она играла роль Леди Макбет (8 представлений). Под руководством М.Ф.А. «и ее заместителя по ПТО П.П. Крючкова» осуществлялись массовые зрелища, в том числе и «Блокада России» (1920), зав. худ. частью которого была В.М. Ходасевич. Весной 1921 года выехала из Петрограда в Германию с П.П. Крючковым по делам Торгпредства.

БАЛТРУШАЙТИС, Юргис Казимирович (1873-1944). Поэт, переводчик, сотрудник символистских журналов. Род. в литовской крестьянской семье. В 1893 переселился в Москву, где окончил университет. Друг Скрябина. Вместе с С.А. Поляковым основал изд-во «Скорпион». С 1921 по 1939 был полпредом Литовской республики в Москве. С 1939 жил в Париже.

БАРТЕНЕВ, Петр Иванович (1829-1912). Основатель и редактор с 1863 г. и до самой своей смерти журнала «Русский архив».

БЕЛОУСОВ, Иван Алексеевич. Род. в 1863 в Москве. Поэт, переводчик (Шевченко), автор книг для детей.

БОБРОВ, Сергей Павлович (1889-1971). Поэт, переводчик, стиховед, близкий к футуризму. В воспоминаниях С.М. Алянского автор говорит о том, что когда Блок в один из своих последних приездов в Москву читал свои стихи, в зале раздался возглас: «Ваши стихи мертвы, и вы сами давно мертвец!» По Ходасевичу, который был в зале, выкрик этот принадлежал Сергею Боброву (*КМ*, стр. 634).

БРЮСОВ, Александр Яковлевич (1885-1966). Младший брат Валерия Брюсова, товарищ В.Х. по гимназии. В молодости, под псевдонимом «Александр», участвовал в журнале «Перевал», в юбилейном сборнике «Гриф»; автор книги стихов «По бездорожью» (М., 1907). После войны окончил МГУ по археологии. Автор работ по археологии, а также воспоминаний.

БУДБЕРГ, Мария Игнатьевна (1892-1974). Ур. Закревская, по первому браку — Бенкендорф, по второму — баронесса Будберг. Переводчица с русского яз. на английский, близкий человек Локкарту, Горькому, Герберту Уэллсу. С 1919 — секретарь Горького, хозяйка дома Горького в Саарове,

Мариенбаде, Сорренто. Ум. в Италии. О ней, см. *Железная женщина* Н. Берберовой (Рукопись).

БУНИН, Юлий Алексеевич (1858-1921). Журналист, брат известного писателя.

БЯЛИК, Хаим Иосифович (1874-1934). Известный еврейский поэт. О нем в 1934 В.Х. написал статью, перепечатанную в *ЛСВ.*

ВАГИНОВ, Константин Константинович (1900-1934). Поэт, прозаик. В 1921 был членом кружка «Звучащая раковина»

ВАЛЬЦ, К.Ф. (1846-1929). Машинист и декоратор Большого театра, автор воспоминаний «60 лет в театре», 1928.

ВЕЙНЕР, Петр П. фон (1879-1931). Искусствовед, автор книг по искусству, сотрудник Эрмитажа, редактор-издатель журнала «Старые годы» (1907-1916).

ВЕНГЕРОВ, Семен Афанасьевич (1855-1920). Известный историк литературы, профессор Петербургского университета, редактор Пушкина.

ВЕРБИЦКАЯ, Анастасия Алексеевна (1861-1928). Автор «Ключей счастья» и других популярных романов.

ВЕРХОВСКИЙ, Юрий Никандрович (1878-1956). Поэт, переводчик, профессор литературы. Автор работ о Баратынском, Пушкине, Дельвиге и т.д. За толщину и медлительность прозванный Слон Слонович.

ВОЛЫНСКИЙ, Аким Львович (1863-1926). Лит. критик, историк искусства.

ВОЛЬКЕНШТЕЙН, Владимир Михайлович (1883-19?). Драматург, работал в МХТ с 1912 до 1921 заведующим лит. частью. Служил в ТЕО.

ВОРОВСКИЙ, Вацлав Вацлавович (1871-1923). Род. в Москве в польской семье. Большевик. Вместе с Лениным и Луначарским редактировал «Вперёд» и «Пролетарий». Служил инженером на петербургском заводе (1913-15). Был назначен представителем советского правительства в Скандинавских государствах (1917-18). Возглавлял Госиздат (1919-20). Назначен полпредом в Италию (1921).

Убит 10 мая 1923 белогвардейцем в Лозанне. Автор «Литературных очерков» (М., 1923).

ГЕЙТЕН, Лидия Николаевна (1857-1920). Балерина в Большом театре. Ушла со сцены в 1893.

ГЕРАСИМОВ, Михаил Прокофьевич (1889-1939). Род. в ж-д. будке в степи. В 1905 г. вступил в РСДРП. Плавал на пароходах по Балтийскому, Средиземному морям. С начала войны 1914 г. служил рядовым-волонтером во французской армии. С 1913г. переписывался с Горьким. В 1919 В.Х. о нем написал статью: «Стихотворная техника М. Герасимова». Основатель и председатель группы «Кузница».

ГИЛЯРОВСКИЙ, Владимир Алексеевич (1855-1935). Род. в дворянской семье. Начитавшись Чернышевского, ушел в бурлаки, работал крючником, был актером в Москве и в провинции. В книге «Трущобные люди» (1888) он впервые в русской литературе вывел босяков. Друг Чехова. В период подготовки спектакля «На дне» знакомил артистов МХТ с жизнью ночлежки. Автор ряда книг, воспоминаний («Друзья и встречи»).

ГИРШМАН, Владимир Осипович (1867-1936). Фабрикант, коллекционер модернистского искусства. В его собрании было особенно много работ К.А. Сомова, который в 1911 исполнил его портрет, находящийся ныне в Третьяковской гелерее.

ГОФМАН, Виктор Викторович (1884—1911). Поэт, одно время известный как «ликтор» Брюсова. Товарищ В. Х. по гимназии (на один класс старше Ходасевича). Автор двух книг стихов. Переехал в Париж летом 1911, где застрелился 13 авг. О нем В.Х. написал статью (1926).

ГРИФЦОВ, Борис Александрович (1885-1950). Москвич, друг В.Х., Муратова, Зайцевых, которые все вместе были в Италии в 1911. Романист, переводчик и редактор Бальзака, переводчик Вазари, Пруста, Флобера.

ДЕЙЧ, Лев Григорьевич (1855-1941). Меньшевик, член «Земли и воли». 16 лет провел в ссылке в Сибири, 4 раза оттуда бежал. В 1911-16 жил в Нью-Йорке, раб. в газете «Новый мир», издавал соц. журнал «Свободное слово»: из этого вышло потом «Новое русское слово». Соратник

Плеханова. После окт. революции был членом редакции «Единство». После 1918 отошел от полит. деятельности.

ДЕСНИЦКИЙ, Василий Алексеевич (1878-1958). Литератор, литературовед, критик-марксист, большевик с 1907г. Основатель и редактор с Горьким газеты «Новая жизнь» (1917-18). Писал о Горьком и редактировал серию «Горький. Материалы и исследования». Портрет его был исполнен В.М. Ходасевич (1923).

ДЖУРИ, Аделаида Антоновна (1872-1963). Балерина.

ДОМАШЕВА, Евдокия Петровна, род. 1882. Балерина.

ДОРОШЕВИЧ, Влас Михайлович (1864-1922). Очеркист, фельетонист («Россия», «Русское слово»).

ДУНКАН, Изадора (1878-1927). Известная американская танцовщица. В.Х. написал статью о ней после ее смерти.

ЕНУКИДЗЕ, Абель Сафронович (1877-1937). Старый товарищ Сталина, секретарь ЦИКа. Был выброшен из партии в 1935, казнен в 1937.

ЗИНОВЬЕВ, Григорий Евсеевич (1883-1936). Близкий соратник Ленина, с 1918 по 1926 глава ЦК в Петрограде, где жил в «Астории». Личный враг Горького. Был приговорен (вместе с Каменевым) к смертной казни на первом московском процессе.

ИЗМАЙЛОВ, Александр Алексеевич (1873-1921). Популярный автор пародий, шаржей, беллетристического репортажа. Одинаково издевался над «декадентами», Маяковским, Горьким и др.

ИКСКУЛЬ ФОН-ГИЛЛЕНБАНД, Варвара Ивановна (1851?-1928). Светская дама, приятельница Тургенева, Мопассана, Чехова. В книге *Некрополь*, В.Х. пишет о ней: «В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений.» В 1921 она была соседкой В.Х. по «Дому искусств». Она бежала за границу по льду Финского залива 70-ти лет. После ее смерти в Париже В.Х. написал о ней статью. .

ИОНОВ, Илья Ионович (1887-1942). Поэт, издатель. В 1924 был назначен заведующим Госиздатом.

КАЗИН, Василий Васильевич (1898-). Пролетарский поэт. «Серьезно занялся литературой в Студии Пролеткульта под руководством Андрея Белого» (Козьмин).

КАЛЛАШ, Владимир Владимирович (1866-1918). Литературовед, редактор Гоголя.

КАМЕНЕВА, Ольга Давыдовна (1883-1941). Жена Л.Б. Каменева, сестра Л.Д. Троцкого. Заведовала ТЕО с 1918 до июля 1919, когда она неохотно перешла на другое место в Наркомпросе. Вяч. Иванов посвятил ей прощальную оду.

КИССИН, Самуил Викторович (1885-1916). Поэт, был женат на сестре Брюсова, ближайший друг В.Х. с 1906. Его псевдоним — «Муни». Ему посвящена глава в *Некрополе*.

КЛОДТ ФОН-ЮРГЕНСБУРГ, Николай Александрович (1865-1918). Художник.

КОРОВИН, Константин Алексеевич (1861-1939). Известный художник, один из т.н. «московских импрессионистов». С 1885 работал для оперы Саввы Мамонтова, а затем в театрах Москвы и Петербурга. С 1923 жил в Париже.

КОРШ, Федор Адамович (1852-1921). Основатель и владелец драматического театра в Москве.

КРЕЧЕТОВ, Сергей Александрович (1878-1936). Наст. фам. Соколов. Основатель издательства «Гриф», редактор журнала «Перевал». Его первая жена — Нина Петровская.

КРЮЧКОВ, Петр Петрович (1889-1938). Секретарь М.Ф. Андреевой, затем секретарь Горького. Был осужден за убийство Горького на третьем московском процессе. См. книгу Н. Берберовой *Железная женщина* (Рукопись).

КУЗЬМИНА-КАРАВАЕВА, Елизавета Юрьевна (1891-1945). Член «Цеха поэтов». С 1919 — в эмиграции. Постриглась в монахини в 1931 (мать Мария). Автор воспоминаний о Блоке (*Сов. зап.*, 62). Погибла в немецком лагере в Равенсбруке.

КУСКОВА, Екатерина Дмитриевна (1869-1958). Правая социалистка, журналистка, член редколлегии «Власти народа». Ум. в Женеве.

ЛЕТКОВА-СУЛТАНОВА, Екатерина Павловна (1856-1937). Писательница, переводчица, вдова архитектора Султанова.

Знала Короленко, Успенского, Михайловского, Тургенева. Жила в «Доме искусств». Она работала над воспоминаниями до самой смерти, но они остались в рукописи, теперь хранятся в ЦГАЛИ.

ЛИПГАРДТ, Эрнест Карлович (1847-1934). Историк искусства, художник-портретист, близкий сотрудник А.Н. Бенуа и других художников, член «Общеста Старый Петербург», 1907-1918. В 1918 году музей Старого Петербурга был передан Аничкову дворцу и назван музеем города, и служащие перешли туда, а «Общество» было закрыто.

ЛОККАРТ, сэр Роберт Брюс (1887-1970). В 1912-1917 г.г. сначала вице-консул, а затем консул Англии в Москве. В 1918 г. — полномочный (но неофициальный) представитель своего правительства в большевистской России, заместитель посла Джорджа Бьюкенана. В 1918 г., в сентябре, Локкарт был арестован и обвинен, среди прочих преступлений, в заговоре против Ленина. Он был, спустя месяц, обменен на М.М. Литвинова, арестованного в Лондоне. Л. — автор нескольких автобиографических книг, среди которых — «Мемуары британского агента», имевшие большой успех и переведенные на многие языки (1932 г.). По книге был сделан в свое время фильм. (См. рукопись книги Берберовой «Железная женщина»).

ЛОПАТИН, Лев Михайлович (1855-1920). Профессор философии, у которого Брюсов писал в 1897 зачетное сочинение о Лейбнице.

ЛЮБОШИЦ, Семен Борисович (1859-1926). Московский журналист.

МЕТНЕР, Эмилий Карлович (1872-1936). Основатель, вместе с Андреем Белым, изд-ва «Мусагет». Теоретик символизма, автор книги «Модернизм и музыка». Брат композитора.

МИЛАШЕВСКИЙ, Владимир Алексеевич (1893-1976). Художник, сосед В.Х. в «Доме искусств», автор книги воспоминаний «Вчера, позавчера», Л., 1972, где упоминается В.Х.

МИРОПОЛЬСКИЙ, Александр Александрович (1872-1917). Наст. фам. Ланг. Поэт-символист, товарищ Брюсова по гимназии.

МУНИ — см. Киссин.

МУРАТОВ, Павел Павлович (1881-1950). Искусствовед, историк, переводчик, прозаик, редактор журнала «София» (1914). С 1906 — близкий друг В.Х. Автор книги «Образы Италии». Уехал в Италию в 1922. Ум. в Ирландии.

НАРБУТ, Владимир Иванович (1888-1944). Поэт, переводчик, акмеист до 1917, член «Цеха поэтов», друг Ахматовой. Был незаконно репрессирован и реабилитирован посмертно.

НЕЛЬДИХЕН, Сергей Евгеньевич (1891-1942). Поэт-акмеист.

НОВИКОВ, Иван Алексеевич (1879-1959). Поэт, автор рассказов, романов.

ОМОН, Шарль. Владелец театра «Варьете» в Москве.

ОСОРГИН, Михаил Андреевич (1878-1943). Наст. фам. Ильин. Журналист, автор романов. До революции был итальянским корреспондентом «Русских ведомостей». В эмиграции — сотрудник «Дней», «Последних новостей», «Современных записок».

ПАВЛОВИЧ, Надежда Александровна (1895-). Поэтесса, приятельница Блока, автор воспоминаний о Блоке. В 1920-30г.г. — детская писательница, позже — переводчица.

ПАРНОК, София Яковлевна (1885-1933). Наст. фам. Парнах. Поэт. С 1907 до 1909г. — жена В.М.Волькенштейна. Два ее стихотворения посвящены Ходасевичу. См. София Парнок, *Собрание стихотворений*, под ред. С. Поляковой, Анн Арбор, 1979.

ПЕТРОВСКАЯ, Нина Ивановна (1884-1928). Писательница, прототип брюсовской Ренаты в романе «Огненный ангел». Автор воспоминаний о Брюсове, частично опубликованных в *Лит. насл.*, том 85. О ней, см. «Смерть Ренаты» в *Некрополе*.

ПЛЕТНЕВ, Валериан Федорович (1886-1942). Драматург, один из руководителей Пролеткульта.

ПОЗНЕР, Владимир Соломонович (1905-). Сын журналиста С.В. Познера. Член «Серапионовых братьев». Выехал из Петрограда весной 1922. Позже — французский писатель, член французской коммунистической партии.

ПОЛЕТАЕВ, Николай Гаврилович (1889-1935). Пролетарский поэт, член «Кузницы».

ПОТЕМКИН, Владимир Алексеевич (1878-1946). Дипломат, историк.

ПЯСТ, Владимир Алексеевич (1886-1940). Наст. фам. Омельянович-Павленко-Пестовский. Поэт-символист, с 1905 г. — близкий друг А. Блока. Автор воспоминаний («Встречи», 1929). О нем В.Х. написал две статьи.

РАСКОЛЬНИКОВ, Федор Федорович (1892-1939). Наст. фам. Ильин. Герой гражданской войны. С 1910 член РСДРП. Командующий Волжско-Каспийской флотилией (1919-20), 1920 г. — ком. Балтийским флотом. Женат первым браком на Ларисе Рейснер. Член редакций журналов «На литературном посту», «Красная новь». В 1938 состоял советским полпредом в Болгарии, но был вынужден уехать из Софии, узнав, что Ежов и Берия лишили его советского гражданства. В больнице в Ницце, в депрессии, через десять дней после начала 2-ой мировой войны, он выбросился в окно. Официальная советская версия была и осталась до сих пор, что он умер от инфаркта.

РОДОВ, Семен Абрамович (1893-1969). В 1923-25 редактировал журнал «На посту». Краткая Литературная Энциклопедия сообщает о нем, что он был «теоретиком левого напостовства, выразителем его сектантских вульгаризаторских тенденций».

РОСЛАВЛЕВА, Наталия Петровна (1907-1978). Балерина, автор книг о балете.

РУКАВИШНИКОВ, Иван Сергеевич (1877-1930). Поэт, драматург. Родился в богатой семье в Нижнем-Новгороде. Родственник матери В.В. Набокова. В 1919 организовал Московский Дворец Искусств. Вождь группы «Литературный особняк». Был женат на заведующей цирковым отделом ТЕО Наркомпроса.

РЯБУШИНСКИЙ, Николай Павлович (1876-1951). Московский меценат. Издатель, редактор журнала «Золотое руно» (1906—1910). Организовал выставку группы «Голубая роза».

САКУЛИН, Павел Никитич (1868-1930). Историк литературы, профессор, представитель «социологического метода» в лит. критике. После революции председатель Общества любителей российской словесности.

СОБОЛЬ, Андрей Михайлович (1888-1926). Писатель. Гостил у Горького в Сорренто в 1925. В состоянии депрессии, после трех попыток самоубийства, застрелился на Тверском бульваре.

СУЛТАНОВА см. Леткова-Султанова.

СУРГУЧЕВ, Илья Дмитриевич (1881-1956). Писатель, драматург, сотрудник «Знания». После 1920 г. — эмигрант крайне правого направления.

ТИНЯКОВ, Александр Иванович (1886-1922). Псевд. «Одинокий». Писатель.

ТИХОНОВ, Александр Николаевич (1880-1956). Литературный деятель, автор воспоминаний о Горьком (Александр Серебров, «Время и люди: воспоминания 1898-1905», М., 1955). Редактор журнала «Летопись» и издательства «Парус», а также «Новой жизни», газеты Горького; заведующий «Всемирной литературой»; редактор «Русского современника» и главный редактор «Академия» (в 1930-х г.г.). Близкий друг Горького с 1903 года.

ТОЛСТОЙ, Сергей Львович (1863-1947). Старший сын Толстого, автор книги воспоминаний «Очерки былого», М., 1949.

УХТОМСКИЙ, кн. Сергей Александрович (1880-1921). Скульптор, сотрудник Русского музея, друг Н.Н. Пунина. Двоюродный брат матери Н.Н. Берберовой. Расстрелян в авг. 1921 (дело Таганцева).

ФЕДОРОВА, Ольга Васильевна (1882-1942?). Балерина.

ФОРШ, Ольга Дмитриевна (1873-1961). Известная писательница, соседка В.Х. по коридору в «Доме искусств»,

автор «Сумасшедшего корабля». О ее посещении Парижа в 1927, см. *КМ*.

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, Анастасия Николаевна (1876-1921). Писательница, переводчица (Метерлинка, Мопассана, Стендаля), жена Ф.К. Сологуба.

ЧЕРНИХОВСКИЙ, Саул Гутманович (1875-1943). Еврейский поэт. После встречи с ним в Берлине, В.Х. написал статью в газете «Еврейская трибуна» (1922).

ЧУЛКОВА, Анна Ивановна (1886-1964). Сестра Г.И. Чулкова, вторая жена В.Х.

ЩЕГОЛЕВ, Павел Елисеевич (1877-1931). Пушкинист, историк революционного движения, редактор журнала «Былое», редактор (с Гржебиным) журнала «Отечество». В.Х. написал о нем статью (1931).

ЯБЛОНОВСКИЙ, Сергей Викторович (1870-1954). Наст. фам. Потресов. Лит. критик, сотрудник газеты «Русское слово».

ЯКОВЛЕВ, Александр Степанович (1883-1953). Прозаик, эсэр-«максималист», сотрудник газеты «Власть народа»

ЯНТАРЕВ, Ефим Л. Друг В.Х. и Зайцевых, частый гость в Лит-худ. кружке.

ЯФФЕ, Лев Борисович (1876-1948). Редактор еженедельной московской газеты «Еврейская жизнь» (1916-18), основатель издательства «Сафрут». С В.Х. редактировал «Еврейскую антологию». В 1919 переехал в Палестину.

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ.

Избранная проза в двух томах,
(т. 2-й)

КОЛЕБЛЕМЫЙ ТРЕНОЖНИК
(статьи о литературе)

В этом томе нашли отражение размышления о современном положении литературы и ее будущем, беспокойство о будущем как эмигрантской, так и советской литературы. В этих статьях выдвинуты принципы художественного творчества Владислава Ходасевича. В состав 2-го тома входят статьи о Н. Гумилеве, В. Сирине (Набокове), Б. Поплавском, И. Бунине, Д. Мережковском, А. Блоке, А. Белом, В. Маяковском и др.

Приложения, комментарии и указатель имен на два тома

260 стр .... 15 долл.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК"